

Мария Метлицкая



А жизнь была
совсем хорошая

За чужими окнами

Мария Метлицкая

**А жизнь была совсем
хорошая (сборник)**

«ЭКСМО»

2014

Метлицкая М.

А жизнь была совсем хорошая (сборник) / М. Метлицкая —
«Эксмо», 2014 — (За чужими окнами)

ISBN 978-5-699-75030-6

Годы, которые принято называть «эпохой застоя», для многих были годами молодости, когда казалось, что все впереди, все по плечу. Иван и Ольга, люди простые и честные, были уверены, что все ясно: живи, работай, и будет тебе счастье и уважение. Но не суждено было Ивану и Ольге наслаждаться этой простой и честной жизнью, потому что такая жизнь оказалась не по нраву их дочерям. Иван не мог понять, где ошибся, в какой момент сделал что-то не так: недоглядел, когда его девочки пошли по кривой дороге. Во всем, что случилось, он винил только себя. Что ж, кто виноват, тому и исправлять ошибки. И Иван принял решение...

ISBN 978-5-699-75030-6

© Метлицкая М., 2014

© Эксмо, 2014

Содержание

А жизнь была совсем хорошая...	6
Три тополя в Новых Черемушках	30
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Мария Метлицкая
А жизнь была совсем хорошая (сборник)

© Метлицкая М., 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

А жизнь была совсем хорошая...

С самого раннего утра – привычное время для рабочего человека – из радиоточки неслась громкая музыка. Иван Иванович домашних своих в этот день не щадил – праздник! Да еще какой – самый светлый и самый любимый. Первое мая! День солидарности трудящихся. А уж семья Кутеповых к трудящимся относилась определенно.

Глава семьи, Иван Кутепов, был строителем первого разряда, монтажником-высотником. Ленинский проспект, широченный светлый новорожденный красавец, имел к нему непосредственное отношение. Не один дом из желтовато-розового кирпича построил Иван Кутепов. И жена его, Ольга Степановна, тоже из «своих» – маляр-штукатур, и тоже бригадир, между прочим. Любимая жена и мать его детей – двух дочек, Маруси и Валюшки, умниц и красавиц. Таких красавиц, что даже родители удивлялись – не девки получились, а принцессы сказочные. Хороши как на подбор, обе.

Маруська в Иванову родню – белобрысая и синеглазая. Только глаза как озера – огромные, бездонные. И льняные локоны вьются по плечам – такая вот красота. Мать, конечно, локоны эти непослушные в тугую косу... Но на висках и на нежной шейке плетут они свои соблазны, плетут.

А Валюшка – чернявая, в Ольгу. Волос тяжелый, густой. Цыганский такой волос. И глаза цыганские – без дна. Посмотришь, и страшно становится, не по себе. Точно в омут заглянул. И брови богатые, шелковые. Не иначе как табор мимо Ольгиной деревни проходил.

Девки – погодки. Дружные, хотя всякое случается. Но жить друг без друга не могут – как ни крути. Погавкаются, потявкаются, поворчат, матери пожалуются – а через полчаса снова вместе. Шушукуются.

Квартира у Кутеповых большая. Огромная даже. Мечтать о такой разве что в сладких снах... И это после всех мытарств, общежития, бараков, холодных и продувных. А что, заслужили! Через долгих тринадцать лет получили Кутеповы свои хоромы. И никто, между прочим, не возражал. Ни одного слова! Все на собрании Ивана Кутепова поддержали: кому, как не ему. Передовик, стахановец. Непьющий и некурящий. В семье лад, жена отличная, тоже не из последних на стройке. Девульки подрастают – славные такие! Отличницы. Да и намаялись они по полной. Все прошли – безденежье, трудный быт. Потому и заслужили – трудом праведным и таким же поведением. Уважали Ивана на стройке. И даже парторгом выбрали – тоже, кстати, единогласно. Главный инженер Крюков так и сказал: «Ты, Кутепов, у нас человек безупречный». А слова эти дорогого стоят. Всей жизнью надо такие слова заслужить.

Иван подкрутил радио и открыл холодильник. Красота! Расстаралась любимая Олюшка. «Умница моя», – довольно подумал он. А как же иначе? Вечером гости придут, друзья, родня. Соловьевы, Путилкины, Кротовы. Это – коллеги, так сказать. А из родни Курочкины нагрянут. А их человек шесть. Родня неблизкая, но все же. В холодильнике плотно, рядком, стояли судки с холодцом, миски с салатами, разделанная селедочка с зеленым лучком, фарш на котлеты. А на широком подоконнике, на больших тарелках, прикрытые белоснежными вафельными полотенцами, выпирают крутыми боками пироги – с мясом, капустой и яблоками – к чаю.

На кухню, позевывая, вышла Олюшка.

– Вань, – упрекнула она, – ну что ты, ей-богу! Орет с утра, не приведи господи. Пусть девчонки поспят.

– Нечего, – обрубил Иван. – Спать будут ночью. А сегодня – праздник. Красный день календаря! Пусть поднимаются и собираются по-быстрому. – Он кивнул на часы: – Полседьмого уже! А в семь надо выйти.

– Опоздаешь, – покачала головой жена, – вот прям опоздаешь! – И принялась накрывать на стол.

– Не опоздаю, – возразил Иван, – потому что опаздывать не имею права – я в голове колонны. Как я могу? – продолжал возмущаться он.

Ольга ничего не ответила – а что, прав. К тому же спорить с мужем она не любила. Ни к чему. Только уж в самых крайних случаях. А так... Не на спорах семья держится, а на добром мире и согласии. Это она давно усвоила. Да и характер был у нее хороший. Покорный. И мужа она уважала – да и к чему собачиться? Кому от этого хорошо?

Иван Кутепов, глава дружной семьи, распахнул без церемоний дверь в комнату дочек и громко гаркнул:

– Подъем! Подъем, лентяйки! А то... – И безжалостно распахнул настежь окно.

Девчонки поежились – утренний первомайский ветерок явно не напоминал жаркое лето – и натянули на носы одеяла.

За завтраком крепко сбита Маруся вовсю уплетала яичницу с бутербродами, а тощая Валюшка брезгливо ковырялась в тарелке.

– Ешь давай! – прикрикнула на нее мать. – Ишь, разбирается!

Валюшка скривила гримасу и отодвинула тарелку – наелась.

– Вон, – с усмешкой кивнула на сестру, – эта... Скоро будет как бомба.

Маруся показала язык:

– Пока толстый усохнет, худой сдохнет.

И тут же получила подзатыльник от отца. Справедливо.

Нарядились – Ольга в новом платье в цветочек и новом плаще, Иван в парадном костюме и при галстук, и девчонки в обновах – светлые туфельки, красные пальтишки. На головах – белые банты. Одним словом – красота!

Вышли из метро, увидели своих и влились в колонну. Зашагали бодро и весело. Из репродукторов рвалась музыка, развевались красные флаги. Люди несли знамена и транспаранты. В руках у детей пестрели бумажные цветы невообразимой красоты и размеров – еле удержишь. Кутеповы шли рядом, плечом к плечу – молодые, стройные, нарядные. И счастливые. Очень счастливые! А такое не придумаешь и не сыграешь – такое видно невооруженным глазом. В смысле – радость и истинное счастье. Счастье честного, порядочного, трудящегося человека.

После демонстрации отправились напрямик домой. Проголодались и слегка промерзли – не лето на дворе, а только начало весны.

Уселись за богато накрытый стол и подняли первую рюмку. За Первомай, разумеется! Остальное – потом.

* * *

Иван Кутепов приехал в столицу в шестидесятых из далекого приволжского села. Приехал один, и было ему так тоскливо и одиноко! Отпустили его неохотно – да и понятно: старший сын, основная надежда. После него еще две сестры, проку с них... Только рвался Иван в Москву – не удержишь! Ни на комбайн, как батя, садиться не хотел, ни в агрономы. Сельский человек – до мозга костей, а рвался в город, на стройку. Мать, женщина суровая, долго молчала и на сына обижалась. Невесту ему нашла – соседскую Нюру. А он на эту Нюру и смотреть не хотел – не нравилась. Совсем не нравилась. И в коровник не хотел, и в огород. Нет, родину свою малую он любил – куда ж без этого? И лес любил, и рыбалку на зорьке. И речку тихую, мелкую, в синюю рябь. А в город тянуло. Да так, что с родителями поругался, собрался да и уехал. Написал, правда, сразу, как в столицу шумную прибыл. Подробный отчет. Потом ничего, сгладилось – после первого отпуска. Привез подарков родне, матери платок и отрез, бате рубашку китайскую в клетку. Сестрам конфет и духов.

Смирилась родня – а куда деваться? А что рвалось материнское сердце.... Да кому до этого дело?

Первую койку дали в общеаге на краю света. В комнате шесть человек. Все свои, деревенские. Все хотят не просто заработать – хотят в столице остаться. Чтобы сделаться москвичами. А это не трудно, но не быстро – сначала прописка временная, на пять лет. А потом – постоянная. И еще положено жилье – комната в общежитии или, если повезет, – в коммуналке. А это уж совсем свое!

В общежитии было весело и мирно – приходили со смены и падали на кровать как убитые. Не до пьянок по будням и не до гулянок. А в воскресенье уже могли и расслабиться – девчонки жарили готовые котлеты, доставали квашеную капусту, присланную деревенской родней, и накрывали столы. Кто-то играл на баяне, пели песни и танцевали – нелепый иностранный городской фокстрот и знакомый всем деревенским вальс. Там он и встретил Олечку Сидорову, которая и стала его первой и самой большой в жизни любовью. И кстати, единственной и навсегда.

Потом была семейная комнатуха в той же холодной общеаге, потом восьмиметровка в коммуналке в Люберцах, а уж потом, когда родились девчонки, управление выделило хоромы на Ленинском.

Ух, как же они были счастливы тогда! Когда впервые зашли в эту светлую, огромную по их представлениям, сказку. Две комнаты – отдельные! Окнами на проспект. Кухня восемь метров. Ванная и туалет. А прихожка! Распахнули блестящие от свежей краски рамы, и ворвался в комнату ветер – свободы, счастья и молодости! Приезжала погостить мамаша – батя к тому времени помер. Ходила по квартире и качала головой – удивлялась всему. Белоснежной раковине, кухонной мойке, горячей воде, бегущей из сверкающего крана. Унитаз трогала руками, паркет. У окна замирала – дух захватывало. Такая красота! Машины шуршат шинами, огни... Напротив гастроном. А там! Никогда она такого добра не видела! И сколько! Что в деревенском магазине? Масло разливное, конфеты-подушечки в сахаре, макароны серые – и то праздник.

Ольга покупала свекрови торт «Сказка» и снимала цукаты – ешьте, мама! Такого дома не будет. И окорок покупала – «Тамбовский». Мать жир с краев на черный хлеб, а розовое, со слезой, мясо – девчонкам, внучкам. «Сало мне знакомее», – говорила.

Все от себя отрывала – всю жизнь. А когда совсем разболелась – от возраста, – Иван хотел ее навсегда забрать: здесь медицина, врачи. А мать отказалась. «Ты, – говорила снохе, – самая хорошая, лучше не бывает. А все равно – сноха. Не хочу быть у тебя приживалкой. Буду жить при родной дочери. Та хоть и стерва и рядом с тобой – никто, а все же дочь. Если прикрикнет и заругает, я не обижусь. А на тебя зло затаю». И уехала. Мудрая была, хоть и неграмотная. А сыну сказала: «Прав был, что уехал от черной работы. Хоть и здесь пашешь, зато жизнь видишь. В кинотеатры ходишь, в Парк культуры. А в деревне – только труд и водка. Все. Никакого просвета. Вот и батя сгорел – молодой. Пятьдесят пять – разве возраст?»

Обжились понемногу. Холодильник купили, люстры, ковер. Потом и на мебель собрали – зарабатывали хорошо оба. Девчонки в яслях выросли, слава богу, крепенькие были, сопли подхватят, носом пошмыгают, а группу не пропускают.

В санатории были. В Крыму и в Подмосковье. По Волге плавали на теплоходе. В Ленинград съездили – самим посмотреть и девчонкам показать. За грибами ездили, зимой на лыжах. Коньки девчонкам купили – фигурные. Те в ЖЭКе занимались, с тренером. Фигуристки! А ничего пируэты крутили! Иван с Ольгой стояли за заборчиком и диву давались. По субботам – в кино. Там в буфет – газировка, пирожные. Красота, а не жизнь!

И такую вот красоту построил Иван Кутепов. Своими крепкими рабочими руками. Не только дома у него выходили. Все остальное – тоже дай бог! Дай бог, чтобы и у другого хорошего человека – хоть кусочек такого счастья. Хоть граммалечку! И еще – когда по радио зву-

чала замечательная песня «Я люблю тебя, жизнь», у Ивана Кутепова слезы на глазах закипали – искренние слезы счастливого человека. Потому что он и вправду очень любил эту прекрасную, честную и счастливую жизнь. Всей своей чистой и справедливой, щедрой и открытой русской душой.

И с женой, Ольгуней, тоже было как в сказке. Даже неловко порой от такого счастья – неловко отчего-то и... чуть-чуть страшновато.

Ни в чем Ольгуня не перечила, потому что доверяла мужу. Ценила его и уважала. Со всем соглашалась: «Да, Вань, как скажешь!» «Да, Ванюша, ты прав». Не спорила и в бутылку не лезла. И дом вела замечательно – пекла, варила, закатывала. И матерью оказалась прекрасной – строгой и справедливой. Нежная была женщина. Вкусная, ох! Ничего не пропало с годами – только сильнее стало. Как прижимался ночью к родному телу, так сердце и замирало, и дух перехватывало.

Такие дела. Впрочем, Иван Кутепов твердо знал – живи честно, чтобы не стыдно было перед людьми. Трудись с полной отдачей. Уважай и цени друзей. Не зарывайся. Не делай плохого другому. Будь верен жене, вкладывай свою правду в детей. И самое важное – личным примером! Вот это и есть основа. Не станет плохим человеком твое дитя, если будет расти в любви, верности и порядочности. И еще – в труде.

Выпили за праздник, за рабочий класс, за партию. Потом – тост за женщин – как без него! Наелись, попели, повели разговоры – за жизнь, разумеется. Женщины принялись убирать со стола, мужчины ослабили галстуки и закурили. Вера Кротова, Ольгина подруга и жена Ваниного друга, вытирала тарелки и задумчиво глядела в окно.

– Оль, – тихо сказала она, – а девки-то у вас... Хорошеют!

Ольга радостно кивнула – как тут не согласиться? Красивые дочки – загляденье. Ладные, толковые. Ленивые малость – ну, с годами пройдет этот грех. Потому что балованные – все у них есть, всего вдоволь. Не то что в ее юности в деревне. Коровник, огород, резиновые сапоги и грязь по колено – почти круглый год. Не хотела она такой участи для своих девок, не хотела. Вспоминала, как бабы женскими делами мучились – побегай в стужу на двор. Нет, пусть ее девки под горячей водой плещутся.

Вера задумалась:

– А ведь глаз да глаз нужен! Яркие девки, бойкие. Москвички – одно слово.

– Москвички, – согласилась Ольга. – И что плохого? Жизнь только будет полегче. И покрасивее! Не то что у нас, Вер!

Вера задумчиво подперла голову рукой.

– Наверное. Только Москва эта... Соблазны одни. Как бы не сбились!

– Да с чего? – рассердилась Ольга. – С чего им сбиваться? Учатся, в кружки ходят. Отметки хорошие. Валюха вон по лыжам в районе первая! Не грубят, за хлебом бегают. Что попросишь – помогут, не отказываются. И в семье у нас... Ну, сама знаешь! И Ваня с ними строго, и я поддам, если надо! С чего им сбиваться? Да и нет у нас в родне вроде «сбившихся»!

– А где тебе сбиваться-то было? В Прохоровке твоей? Да там одни старики и алкаши остались. Навоз по колено да картошка мешками. А тут ты сразу за Кутепова выскочила. Время у тебя было на всякие глупости?

– Свиныя всегда грязь найдет – если захочет, – сурово бросила Ольга, – и в селе, и на хуторе. И не в столице тут дело!

– Как раз-то в ней, в столице. Соблазны такие! Куда ни глянь. И мужики разные – не все как твой Ваня. Разные, Оль! Это ты их не видела. А я повидала.

Ольга с удивлением уставилась на подругу.

– И что, не понравилось?

– Да просто выводы сделала – вот и все. Только мне тогда уже двадцать было, а девкам твоим поменьше.

– Это ты к чему? – нахмурила брови Ольга. – К чему разговор этот дурацкий затеяла?

Вера пожала плечами.

– Да ни к чему. Просто вспомнила свою жизнь. Да и на девок твоих залюбовалась. И связала все вместе.

– А ты развяжи! – грубо ответила мягкая Ольга. – Вспоминай свою жизнь про себя. Я вроде не любопытствую.

Вера вздохнула и вышла из кухни, а Ольга еще долго стояла у окна и смотрела на улицу. Пока ее не окликнул удивленный муж:

– Про чай, хозяйюшка, позабыла?

Она мотнула головой, подхватила чайник с заваркой, порезала торт и поспешила к гостям.

На лице улыбка, а в душе... Мутота одна и чернота. Стерва эта Кротова. Стерва. Разве подружки так поступают? Сердце материнское бередают? Да и какие у нее поводы? Завидует просто – вдруг осенило Ольгу. Конечно, завидует! Не все у нее с Кротовым складно, известно всем. И родить никак не может. После пяти аборттов.

А кто, спрашивается, виноват?

На лето поехали в деревню – к Ольгиной родне. Мать была еще в силах, держала и скотину, и большой огород. Валюшка с Маруськой деревню любили – да и бабка их не мучила, жалела. Уезжая, Иван, зять любезный, строго теще наказывал – девкам спуску не давать! Загружать по горло! Чтоб помогали – и за скотиной, и в саду. И в избе прибирались. Только она зятю не стала слушать, отмахнулась – сами разберемся. Пусть девки отоспятся, молочка парного попьют вволюшку. В лес по грибы ходят. А с хозяйством она управится – не впервой. И на танцы девок отпускала – а когда гулять, как не по молодости? Когда вволюшку потешить? Молодость, она быстро пролетит – не заметишь и за хвост не поймаешь. А там – дети, муж, хозяйство. Бабская доля не из простых, знаем!

Валюшке исполнилось тринадцать. Маруське четырнадцать. И распустились они точно майские розы. Приехали родители за ними – и ахнули! Еще краше девки стали, еще аппетитнее. Аж глазу больно – так хороши!

Бабка ничего родителям не сказала, как девки без спросу из дома по ночам бегали, как с танцев с кавалерами до утра «провожились». Как дрыхли до полудня. Только подумала, что на следующий год она с ними не сладит – сил не хватит. Напишет потом дочке, что хворает сильно. Пусть с девками в санаторию едут – при отце и матери они не облагут и головы не потеряют. А сейчас главное – чтобы в сохранности их передать. Ну, вроде за этим делом следила – по бельишку ихнему. А сердце все равно замирало – не дай бог что! Не простит ни дочь, ни зять строгий. Ох, да лучше про это не думать – страшно!

А как они съехали – вздохнула. Не по годам ей такие испытания, не по годам. И не по здоровью.

В первый раз Маруська влюбилась в пятнадцать – в школьного математика. Валюшка сестру за это презирала, посмеивалась над ней. Маруська три месяца отстрадала и позабыла про бородатого математика – влюбилась в артиста Юрия Соломина. Тут сестра уже не смеялась – артист был немислимой красоты. Только все равно – смешно в артистов влюбляться. Где ты, и где они! А Маруська обижалась и твердила, что найдет его адрес, подкараулит и объяснится в любви. Ну, и он, конечно, не устоит. И смешливая Маруся сама начинала смеяться: «А кто устоит, спрашивается? Перед такой-то красотой?» И, поворачиваясь перед зеркалом, надувая пухлые губы, кокетливо вопрошала: «Свет мой, зеркальце, скажи и всю правду доложи, я ль

на свете всех милее?..» Тут к зеркалу подбегала Валюшка и, отталкивая сестру, кричала: «Я! Я на свете всех милее, всех румяней и белее! А ты, – она шутливо толкала сестру в бок, – а ты, Маруся, всех жирнее, всех противней и дурнее!» Начиналась веселая потасовка, и по комнате летали подушки, любовно собранные бабушкой, роняя легкое деревенское утиное перо. Все продолжалось, пока мать не заходила в комнату и строго не приказывала дочкам «прийти в себя и сесть наконец за уроки, пока отец не вернулся с работы! А то будет вам... на орехи...».

Сердце у Ольги тревожно замирало... Хотя с чего бы? Растут девки. Взрослеют. И ничего вроде не происходит. Нормально все. Пока...

Но почему такая тоска?

Серьезный роман первой завела Валюшка. С соседом Валеркой Фроловым. Тот только пришел из армии – высоченный, здоровый. Бык, а не мужик. Стояли на лестничной площадке часами – Валерка смолил одну за другой, а Валюшка «присутствовала». Хихикала по-глупому – сама удивлялась, глаза тупила. Валерка рассказывал несмешные армейские анекдоты, травил заезженные байки и делал соседке неловкие комплименты. Перед приходом отца недовольная Ольга загоняла дочь домой – как упрямую корову хворостиной.

Валюшка отвечала:

– Сейчас! – И не трогалась с места.

Любопытная Маруся выглядывала в коридор и показывала сестрице язык, а ночью пытала ее:

– Ну, как там у вас? Целовались?

Валюшка посылала сестру подальше и в сладких грезах моментально засыпала.

А Валерка ее вскоре бросил – завел роман с парикмахершей Зойкой и сказал Валюшке: «Делать с тобой нечего – сопливая еще! Малолетка».

Валюшка прорыдала недели две, а потом про Валерку забыла – влюбилась в другого.

Маруся же теперь любила артиста Андрея Миронова. Хоть и не такой красавец, как Юрий Соломин, зато «обаяния море!» – так говорила учительница по литературе.

Она даже караулила его у Театра сатиры после спектакля. Однажды повезло – увидела, как он сидел в светлую «Волгу». Элегантный, в бежевых брюках и голубой водолазке. Правда, под руку он держал высокую блондинку на тонюсеньких острых шпильках, с высокой «бабеттой» и огромными, словно приклеенными, мохнатыми ресницами. «Бабетта» громко хихикала и одергивала узкую и короткую синюю юбочку. Через минуту они, взвизгнув тормозами, мгновенно сорвались с места и укатили – в прекрасную и незнакомую Марусяке загадочную жизнь. А она осталась на тротуаре – с раскрытым ртом и глупо хлопающими глазами – жалкая, расстроенная и униженная. И медленно побрела по улице – громко и обиженно всхлипывая.

Словно жизнь показала ей жирную и насмешливую фигу.

* * *

О том, что счастливая и прекрасная жизнь подходит к концу, Ольга поняла скоро. А вот супруг ее, Иван Иванович, довольно долго пребывал в счастливом неведении. Да и понятно – все, что только возможно, от него тщательно скрывалось. Например, девочки, зайдя в подъезд, тщательно стирали вазелином яркую косметику. Стягивали ажурные колготки и закручивали буйны локоны в стыдливую косу. Сигареты прятались под чугунную батарею на лестничной площадке и тщательно зажевывались лавровым листом. И в дом входили, скромно потупив глаза, тихие и прилежные дочери, просто сама невинность и стыдливость. Отец, как всякий ничего не подозревающий наивный человек (как, впрочем, и большинство счастливо и талантливо одураченных отцов), подвохов не замечал и замечать не собирался. Впрочем, не от лени или небрежности – все было шито-крыто, особенно для невнимательного и неопытного

мужского взгляда. Дневники, которые он подписывал, пока они учились в школе, закончились, Валентина училась на парикмахера (вот уж где отец откровенно страдал!), а Мария – на швею-мотористку. Ни одна из дочерей не пожелала продолжить славную династию строителей.

Иван искренне считал, что рабочей косточке не место у кресла «вихлять задом перед клиентами». Ольга горячо убеждала его, что любой труд почетен и труд парикмахера – в том числе. Она приводила множество разумных доводов в пользу того, что профессия эта делает женщин красивыми и уверенными в себе, что не такой это тяжелый труд по сравнению с трудом маляра-штукатура. И не такой, кстати, опасный – к сорока годам у Ольги разыгралась тяжелая аллергия на масляную краску и побелку. Да и вопрос заработка тоже не из последних. Иван горячо возражал – особенно когда речь заходила про заработки. Какие чаевые у рабочего человека? Чаевые у лакеев! А чтоб его дочь, да в лакеи...

Марусин выбор его так больно не ранил – швея, все-таки рабочий класс. Но обида на дочерей оставалась – кончились строители Кутеповы, не случилось знатной и уважаемой династии. Дуры бабы, москвички – одно слово.

Итак – школа закончилась, девки выросли, и Иван Кутепов свято верил, что главное в своей жизни он уже совершил – поставил детей, что называется, на ноги. Ну, или почти поставил. Теперь дело за малым – удачные браки, крепкие и счастливые, хорошие зятья – из наших, деревенских (дай-то бог). Ну, или из городских, но все таки своих – из здоровых трудовых семей. А там уж – дело за внуками. Пусть рожают девчонки богатырей или красавиц – как уж получится. А Иван Кутепов постареется – и с квартирой поможет, и деньгами. А Ольгуша с внучками посидит – с работы по причине нездоровья пора, увы, уходить. Да и ладно – отработала Ольга свое, пусть отдыхает. А он, Иван, семью прокормит, как всякий нормальный мужик. Иногда, глядя на часы, он растерянно спрашивал у жены:

– А где девки, Ольгуша?

Ольга отвечала, что задерживаются – то на занятиях, то на вечеринках в училище. «Молодые, Вань, когда и погулять-то, если не сейчас?» Иван слегка нервничал, но быстро успокаивался – жене он доверял безгранично. Ольгуша спокойна – значит, нет причин волноваться и ему! И засыпал крепким сном рабочего человека. А Ольга не спала... Стояла часами у окна и вглядывалась в темную муть улицы. Сердце замирало от тревоги и тоски. И еще – от страха. Только бы Ваня не проснулся. Но Ваня спал – блаженным сном ни о чем не подозревающего человека.

Пару раз «дочушки» приходили подшофе – Ольга из комнаты не выходила, боясь потревожить мужа, но по звукам падающих предметов понимала, в чем дело. Разумеется, пыталась с дочерьми разговаривать. По душам не получалось: девицы все отрицали и безбожно и опытно врали – то день рождения у подруги, то вечер встреч в школе, то успешно сданные экзамены.

– До беды доведете, – жарко шептала мать, – до греха! Жизнь поломаете – и себе и всем.

Сестры, как всегда, дружно, хотя и вяловато, пытались успокоить мать и слегка оправдаться.

Пару раз, доведенная до полного отчаяния, Ольга подумывала о том, чтобы посвятить в происходящее мужа. Но откладывала, боялась за его здоровье – мужики-то существа нервные, да и возраст у Ивана тревожный, вон от инфарктов мрут как мухи. И за себя боялась – что и говорить! Обвинит, что запустила, врал, скрывала. Боялась семейных скандалов и разборок – нрав у Вани горячий. Не дай бог попасться под горячую руку! И еще – надеялась, что как-нибудь... Как-нибудь рассосется, исправится, переменится... Ну встретят девки хороших парней! И – в загс. С фатой, белым платьем – все как положено. Как у людей. Образуется, дай бог! И будет у них в семье снова покой и радость – как раньше, в прошлой жизни... Когда все вместе, рука об руку и друг за друга.

А разве может быть у них по-другому?

* * *

Оказалось, может. Очень даже может. Увы...

Когда Валентина впервые ушла из дому, скрыть это от Ивана было уже невозможно. И байки придумывать тоже. Ушла Валька к любовнику, сорокапятилетнему директору треста столовых, пузатому, заросшему буйным курчавым волосом Виталию Ильичу. Русский по крови, нрава он был безумного, восточного и ревновал красавицу Вальку по-страшному. Было достаточно одного ее взгляда, вполне, кстати, невинного, в сторону какого-нибудь мужчины, как страстный любовник хватал ее за руку и волок в противоположную сторону. А уж там получала она по полной – точнее, по мордасам.

Жизнь их крутилась вокруг кабаков – ежевечерний обязательный ритуал. Наливаясь дорогим коньяком, он обводил глазами столики с посетителями и обязательно находил врага – того, кто «пялится на его женщину». Потому, что его женщина – шалава. Кабак был знакомый, почти всегда один и тот же, и официанты знали, чем, скорее всего, закончится гулянка ревнивого дельца и его красавицы подруги. Никто не препятствовал – во-первых, бесполезно, а во-вторых, Виталий Ильич так лихо и щедро оплачивал ресторанные потери в виде разбитой посуды, зеркал и окон, что всем это было в принципе выгодно. Хотя и довольно хлопотно. Но стекольщик дядя Вася из соседнего ЖЭКа был всегда начеку, и через пару часов после отъезда «веселой парочки» новые стекла уже протирала уборщица Нинка. Все окупалось с лихвой, а уж списать разбитую посуду было делом несложным. Валентина смотрела на драку с безразличным видом и никогда не препятствовала – покуривала себе, стряхивая пепел в бокал с шампанским.

Когда могучий швейцар, бывший майор, наконец оттаскивал ревнивца от очередной ни в чем не повинной жертвы, Валентина лениво и медленно вставала, поправляла прическу, облизывала ярко накрашенные губы и медленно, с расстановочкой, плавно покачивая роскошными бедрами, затянутыми в узкое платье, двигалась к расprostертому на полу или уже сидящему на стуле окровавленному любовнику.

Подойдя совсем близко и чуть прищулив прекрасные цыганские глаза, спокойно и с достоинством вопрошала:

– Ну что, доволен?

И так же медленно, вразвалочку направлялась на выход, к гардеробу. Там услужливый хромоногий гардеробщик Степан лихо и шустро накидывал на ее прекрасные точеные плечи короткую норковую шубку или кожаный, блестящий, как масло, плащ – по сезону – и торжественно открывал тяжелую парадную дверь:

– Спасибо за ласку, Валентина Ивановна! Ждем вас снова – как всегда!

Она, ничего, разумеется, не отвечая, хмурилась и выходила на улицу. Глубоко вдохнув свежего воздуха, снова закуривала и молча смотрела в одну точку – ожидая скорого выхода возлюбленного. Он появлялся минут через двадцать – виноватый, с отеком или фингалом на крупном, красивом и породистом лице, пытался что-то промямлить в свое оправдание – на что она резко его пресекала: «Да хватит уже!» И требовала быстрее ловить машину – замерзла тут, ожидаючи. Он бросался к мостовой и быстро, без торговли, сговаривался о маршруте. Ему не отказывали, понимая, что заплатит он щедро – *такие* всегда платили хорошо. Они молча ехали в машине, и виноватый любовник нежно, но крепко держал Валентину за руку. Машина останавливалась у невзрачного дома на Шаболовке – там он «держал» квартиру для любовницы – просторную, двухкомнатную, обставленную по его «притязательному» вкусу: румынская добротная мебель, тяжелые бархатные гардины и множество хрустальных светильников. Он любил яркий синтетический свет, в котором хорошо видна была молодая Валентинина красота – любуйся сколько хочешь! Твое. Уплачено.

Валентина не спеша раздевалась, а он, удобно усевшись в кресле, смотрел на нее тяжелым и все еще пьяным взором – довольным и сытым: мое! Она шла в душ, а затем в спальню с такой же добротной и массивной мебелью, а он, окончательно разгорячившись, резко снимался с места и с почти звериным рыком врывался к ней. Валентина чуть-чуть, совсем незаметно, морщилась и закрывала глаза. Все, что происходило потом, ей, честно признаться, очень и очень нравилось. И грубые ласки его и бранные слова ее совсем не смущали. Иногда он ночевал, грузно раскинувшись на широкой кровати и громко, трубно храпя. Иногда – уходил. И она совсем не переживала, точно зная свое место – у ее любовника была семья, жена и две дочери. Даже радовалась, когда он срывался домой – выспаться можно от души, без посторонних звуков и назойливых утренних ласк.

Утром Валентина долго спала, потом стояла под душем, спокойно завтракала – холодильник был всегда забит доверху самым отменным дефицитом. После обеда снова ложилась – уже подремать, полистать журнальчик или посмотреть кинцо по телевизору. Иногда протирала пыль и перебирала свой обновленный и обширный гардероб. Больше делать было нечего – только ждать вечера и настойчивого звонка в дверь.

Раза три в неделю забегала Маруся. Жадно оглядывала квартиру, всегда, словно в первый раз, удивляясь богатству. Щупала сестрины платья и кофты, красила ногти новым импортным лаком и залезала в холодильник – всегда голодная, готовая «съесть быка».

Валентина покуривала и посмеивалась:

– Жри, пока дают. Только смотри, скоро в дверь не войдешь!

Про родителей Валентина не спрашивала – Марусяка триндела сама:

– Мать болеет, стареет, грустит. Папаша – вообще... Как с цепи сорвался! Тебе хорошо, – говорила она ноющим голосом, – свалила, и нате! А я... За тебя огребаю! Отец требует, чтобы из училища домой. По часам отслеживает! Достал дальше некуда.

Валентина пожимала плечами:

– А я-то тут при чем? Не нравится – съезжай. Взрослая уже. Сама себе хозяйка.

– Куда? – пугалась Маша.

– Коту под муда! – зло бросала Валентина и разговор прекращала.

На вопрос сестры, любит ли она своего любовника, громко хмыкала и отвечала:

– Обожаю! Жить без него не могу! – И грустно добавляла: – Дура!

Нет, конечно, не так она представляла себе прекрасную и счастливую семейную жизнь. Не так. Но и не так, как у мамки с папкой – пахать всю жизнь как бобики, и чего? Что они видели в своей нелепой жизни? Санатории сраные с гречневой кашей? Коровник в деревне? Сапоги да валенки? А, радостный и счастливый труд! Во имя, так сказать, социалистической родины? Родного государства и партии? Да гори оно все огнем! Пахали всю жизнь и «выпахали» – мама астму, а папаша гипертонию и еще пенсию в сто тридцать рублей. Ах да! Участок в шесть соток на торфяном болоте в Шатуре! И хижину дяди Тома – хибару пять на шесть! Вот радость-то, прости господи. Не хочет она такой жизни! Не хочет!

Правда, и эта... Зато – без забот! Сытая и веселая – ну почти... И тряпок вон импортных целый шкаф. За всю жизнь столько бы не заработала... И золота целый ларь. Плохо?

* * *

Маруся сестре завидовала – не тряпкам, нет. И не квартире с богатой мебелью. Свободе она завидовала, вот чему. Что мать не смотрит вечно грустными, словно больными, глазами. Что отец не глядит как на врага народа, – отпустить подол юбки, снять каблуки, что за прическа? А уж про косметику и говорить нечего. Да не самое главное это. Главное, что отец в них разочаровался. Не принимает их (про Валентину и говорить нечего – однажды сказал как отрезал: «Нет у меня такой дочки. Умерла»). «Ведет образ жизни несоветского человека». А в

чем, спрашивается, эта несоветскость? В том, что хочется быть молодой и красивой? Носить яркие вещи, колечки, цепочки? Красить ресницы и губы, бегать на танцы, есть мороженое в кафе? Пить шампанское? Да уж! Советский человек должен вкалывать с утра до вечера, носить жесткую обувь фирмы «Скороход», платье из ацетатного шелка старушечьей расцветки, заплетать до старости косу и гордиться естественной красотой. Да! Еще выйти лет в двадцать замуж – за рабочего, разумеется, парня в жесткой робе и с радостной, щербатой, во весь рот улыбкой – и начать рожать детей, подряд и сразу. По воскресеньям ходить к родителям на семейные обеды, выслушивать нравоучения отца, помогать матери мыть посуду и следить за тем, чтобы благоверный «не перебрал» – тяжело тащить на себе до дому. Дальше – считать копейки до получки, лучшие годы прожить в коммуналке со сварливыми и пьющими соседями, штопать колготки, задыхаться от запахов соседских щей, отстаивать очереди за колбасой, проводить отпуск у родни в деревне, где все почти так же, как на коммунальной кухне, только грязь по колено, зеленые мухи и сортир во дворе.

Вот так? Вот так нужно проживать свою жизнь? Единственную, кстати! Нет, путь сестры Маше не совсем нравился. Точнее – совсем не нравился. И не нравился Валентинин сожитель. Конечно, хотелось молодого, красивого. Остроумного, делового и небедного.

Есть такие? Да конечно же, есть! Только вот... Не про нашу, как говорится, честь.

Такие учатся в МГИМО и в инязе. Родители *таких* дипломаты, которые не вылезают из заграницы, или военные при больших, генеральских, чинах. Или академики и ученые. Или известные актеры, режиссеры, художники.

Но! Вот тут – внимание! Девочки из рабочих семей – парикмахерши и швей-мотористки, штукатуры, укладчицы, продавщицы и воспитательницы детских садов – им не нужны! Не их, что называется, товар. Не их профиль. Золушки бывают только в сказках. А в реальности – у них свои красавицы: в МГИМО, инязе, Университете, в Доме кино, Доме архитектора, журналиста и ученого. В модных кафе и на закрытых просмотрах. Внучки генералов и академиков, дочери режиссеров и дипломатов. У них свой круг, своя каста.

И что остается молодой, красивой и неглупой девушке без пропуска в красивую жизнь? Жалкие потуги выглядеть – модно, стильно, свободно, *доставать*, переплачивая из своих жалких грошей, польские платья, чешские туфли, болгарские духи, прибалтийские трусики. Кафе на окраинах с несвежими скатертями, киношки, танцульки. И там – только там! – искать себе спутника. Свое счастье. Ну а где же еще? Не на камвольном же комбинате, где мужиков – раз, два и обчелся: пара наладчиков, начальник цеха, вахтер да водитель директора. Да и те – кто алкаш, а кто в ожидании подарка от профсоюза – часов «Полет» по случаю выхода на пенсию.

И замуж Маруся не хотела – как посмотрит на мать, сразу желание и пропадает. И от крикливых младенцев ее воротило – от рассказов про пеленки, соски и постоянные сопли. И комбинат свой она ненавидела – от всей души. Запах пыли и полотна, стрекот швейных машинок, сопливый столовский кисель, жесткие холодные котлеты с серыми, слипшимися макаронами. Профсоюзный комитет, комсомольские собрания, синий рабочий халат и белую косынку – все ненавидела! Так страстно и так крепко, что слезы из глаз.

А дома было еще хуже – не приведи господи! Мать болела, кашляла, задыхалась и постоянно плакала – тосковала по Вальке. Отец постарел и еще больше засуровел – говорить с ним стало совсем невозможно. Только претензии и оскорбления – за себя и за Вальку. В квартире как после похорон – тихо, тревожно, неудобно. Куда делась их беззаботная и счастливая жизнь? Ушла вслед за Валькой и захлопнула дверь.

А вот любви хотелось! Какая девушка не хочет любви? Мечталось о нем – молодом, стройном, кудрявом. В модных джинсах и светлом свитерке. С сигареткой в узких ироничных губах.

Намечтала! Именно такого – точь-в-точь. Как в самом сладком, девичьем сне... А познакомились банально – в кафе-мороженом на Горького. Сидели с Валентиной, ковыряясь в жестя-

ных вазочках с ванильно-абрикосовым, попивали несладкий кофеек. Валька первая заметила – кивнула острым подбородком:

– Смотри, какие хлопцы!

Хлопцы были хороши – стройные, модные. Один – блондин с голубыми глазами в узких темно-синих джинсах – постоянно курил и кидал равнодушные взгляды на девушек. Второй, попивая шампанское, рассказывал, видимо, что-то смешное, и это самого его страшно веселило. А вот приятель его, тот, голубоглазый и равнодушный, чуть кривил уголки красивого, крупного, четко очерченного рта.

– Не пялся, – строго приказала сестре Валентина и, закинув стройную ногу в темном чулке, картинно выпустила изо рта узкую струйку дыма. – Фарца, – тут же определила она. – Этот, в джинсах, точно! А второго – видела я его где-то. Зовут, по-моему, Арик.

– А блондин? – Маруся нервно облизала верхнюю губу. – Приятеля его знаешь?

– Да вроде нет, не припомню.

Не ошиблась – того и вправду звали Арик, и был он известный центровой «ломщик». Пробивался у валютных и «Интуриста». Второго, того самого блондина, Валентина не опознала. Был он из той же команды. Фарцевал у магазина на Беговой чем попало, не чурался ничего, что приносило бы доход и красивую жизнь. Еще его знали на ипподроме – там он тоже был своим человеком. Опытным прожженным букмекером. Жил он на съемной квартире там же, в районе Беговой, – рядом работа, ипподром и толкучка, и во дворе стояли его новенькие, заработанные всего за полгода неприличного канареечного цвета «Жигули».

Родители его, кстати, скромные рабочие, простые люди, жили в подмосковном Ногинске, абсолютно уверенные, что их любимый и единственный драгоценный сынок успешно постигает науку в Институте инженеров транспорта, стремясь поскорее его окончить и получить гордое звание советского инженера.

Звали его Владислав Волков. Но называли все Владик Волк. Фамилия очень и очень соответствовала Владиковой звериной, ушлой, осторожной и цепкой натуре.

Он кинул взгляд на сестер и небрежно бросил другу:

– Ничего телки! А как тебе?

Арик, озабоченный негаснущей страстью к официантке из «Националя» Милке, неверной и продажной (вот сука!) зеленоглазой брюнетке с бюстом шестого размера, бросил на девиц равнодушный и пустой взгляд.

– Да деревня какая-то. Темная – тощая, сухая. Треска. А белобрысая... Матрешка, блин! Хор Пятницкого. – И, видимо вспомнив коварную и прекрасную Милку, сразу погрузнел.

– Придуток, – качнул головой блондин, – чистый придуток! Та, блондинистая, вылитая Мэрилин Монро. Ты приглядишься только! Губы, глаза, ноги! А сиськи какие! Нет, ты обернись, – настаивал он.

Арик повернулся, нагло разглядывая девиц, и пожал плечами.

– Монро! Скажешь тоже. Ей до Монро, как мне... до Штирлица. – Тут он задумался и почему-то оглянулся по сторонам. И, так ничего и не придумав, горестно вздохнув, одним залпом выпил полный бокал шампанского.

– Дурак, – повторил приятель, – всегда говорил, что ты дурак. Ни черта не смыслишь! Ее только подстричь. Даже красить не надо. И еще – прикинуть. Цапки, тряпки, шузы. Не телка будет – кинозвезда. Все обзавидуются. И не потрепанная, свежая. Краснеет вон! – Он усмехнулся. – Надоели все эти бабы – ну, те, что рядом по жизни. В глазах только бабки, бабки и ничего больше. Подсчет ежеминутный. Тоска. Одна мысль – как развести любовников. Нет, тут поработать немного...

– И охота тебе? – Арик покачал головой и пожал плечами. – Вон сколько их. Только свистни! – А потом, обведя равнодушными глазами зал, добавил: – Даже свистеть не надо. Сами прибегут и еще спасибо скажут.

Волк рассмеялся и уточнил:

– За что?

– Прикидываешься? – усмехнулся дружок. – Да за то, что ты просто внимание на нее обратил!

Тот кивнул и согласился.

– Ну да. Разумеется. А то мы не знаем!

Все ему удавалось в жизни – так искренне считал он сам и все остальные. Он – из породы везунчиков. Красавчиков и везунчиков. Редкое свойство.

Девушки засобирались уходить, и тут блондин, слегка крикнув, поднялся с места и подошел к их столику.

– Потанцуем? – осклабился он.

– Потанцуй, – согласилась брюнетка. – И, усмехнувшись, добавила: – Самостоятельно. Вдруг получится!

А блондинка, доморошенная Мэрилин, залилась сплошным и густым румянцем.

– Молодец, – кивнул он, – сечешь фишку. Только вот это зря. Я без понтов, с открытым и чистым сердцем!

– Ага, – усмехнулась Валентина, – знаем мы вас с открытым сердцем. И дружка твоего видали. – Она обошла блондина и кивнула спутнице: – Шевелись!

Та засемила следом за бойкой подругой.

Брюнетка скрылась в туалетной комнате.

Уязвленный отказом, Волк двинулся следом. У гардероба, где блондинка смущенно натягивала скучный и серый плащ, он взял ее за руку и нежно шепнул:

– Не слушайте ее! И в искренности моей не сомневайтесь. Давайте встретимся вечером. Ну, у Большого театра, например?

«Мэрилин» кивнула, нервно оглядываясь по сторонам. Блондин поцеловал ей руку и испарился – словно его и не было.

Хмурая Валентина молча вышла на улицу. Маруся поспешила за ней.

– Ну и чего ты завелась? – спросила она сестру. – Вот что тут такого? Прикадрился парень. Тебе-то что? Завидно, что ли?

Валентина замедлила быстрый шаг, остановилась и посмотрела на сестру.

– Ты дура или как? Ты что, не понимаешь, что это за люди? Арик этот... И его дружок! Арик в ментовке свой человек. Возле иностранцев крутится – в «Национале», в «Белграде». Дипломатов «ломает». Знаешь, что это?

Маша покачала головой.

– Вот и я о том же! – резко сказала сестра. – Ход у них такой. Ни за что не засечешь! Берет валюту – типа, купить. Ловко так пересчитывает – «ломает» – и искренне удивляется: сотни или двух не хватает. Недодали, ошиблись, просчитались. А эта сотня уже у него в кулаке зажата. Чистый навар. Люди, может, и сомневаются, а к ментам не пойдут, потому что торговля валютой – статья. И еще поди докажи! Вот и попадаются разные лохи – командировочные и туристы. А еще там все стучат, понимаешь? Если за жопу их не берут, значит, точно – стучат. И фарца, и проститутки. И ломщики эти. Мир этот, знаешь ли... До добра не доведет. Ты уж мне поверь!

– Ну и что? – не поняла сестра. – А я-то тут при чем? С какого боку?

– Да с такого! – крикнула Валентина. – Ты что, на фабрику будешь ходить, пока он у гостиниц «уютжит»? А вечером ужин и в теплую койку? Так, что ли? Детишек ему родишь? К родителям будете по воскресеньям? Он будет с папашей футбольные матчи обсуждать и мамыны пироги нахваливать? Думаешь, так?

Маруся молчала.

– Я и говорю – дура! Жизнь у них другая, понимаешь? Совсем другая! И та, о которой ты мечтаешь, ему до фонаря! Он убежал от такой жизни! И от родителей своих убежал. Чтобы к твоим приходил, что ли? И семья ему не нужна, и дети. И котлеты твои с макаронами – они каждый день в кабаках обедают. И ужинают тоже. И баба им нужна для картинки – прийти, прошвырнуться, поехать в Сочи, на море. Показать друзьям, похвастаться. В постели покувыркаться. Надоест – гудбай! Потому что нужна новая, свежая, неизвестная. Ну, теперь поняла? И на аборты будешь бегать, как на свидания – без передыху. Потому что эгоисты они! Сволочи и потребители! Ясно тебе?

Маруся нахмурила брови.

– Ну, не тебе говорить. И не тебе учить. Сама-то...

– Вот именно! – с жаром подхватила Валентина. – Вот поэтому и не хочу, чтобы ты... И чтобы тебя – как поломанную куклу на помойку!

Она развернулась и пошла быстрым шагом к метро. Маруся смотрела ей вслед. Потом бросила взгляд на часы на Главпочтамте и побежала к метро – надо успеть домой, вымыть голову, обновить маникюр, одеться понаряднее. И... в восемь у нее свидание! У Большого театра. У четвертой колонны. С самым прекрасным мужчиной на свете!

А про сестру подумала: «Завидует! Сидит в своей золотой клетке, фингалы Виталькины дермаколом замазывает. И ждет своего борова волосатого. Фу! Вот я бы... Ни за что и никогда!»

Когда она подошла к Большому, он уже стоял у колонны и крутил в руке одинокую белую розу. Увидев ее, усмехнулся уголком красивого и упрямого рта и принялся рассматривать – бесстыдно и откровенно, так, что она сбилась с ноги и снова залилась бордовым румянцем.

В тот первый вечер они долго сидели в кафе на Горького, пили коктейль «Шампань-коблер», вкусный до невозможности, ели мороженое и эклеры, и он, смеясь, признавался ей, что страшный сластена и за кусок торта готов на все – даже родину продать.

Она испугалась, а он рассмеялся – шутка. Потом они бродили по городу, сидели на лавочках, снова шатались, и он рассказывал ей про чудесные страны и чудесную жизнь – там, за границей. Про Париж, например. Или Рим.

Она удивлялась – как много он знает! И про музеи, и про магазины. И про архитектуру – дворцы и замки. Про иностранные машины, про марки (лейблы) заграничных тряпок. Про все, о чем раньше она и слухом не слыхивала. Еще он говорил – с неподдельной тоской, – что жизни «здесь нет». Не только приличных машин и тряпок, а вообще – *жизни*. Что мы ничего не знаем про «огромные человеческие возможности». Про путешествия, яхты под белыми парусами, французское шампанское, фуа-гра, устрицы, хорошее белье, модные рубашки...

– Ничего! – сокрушался он. – Живем как в диком лесу! Радуетесь говну – джинсам по непомерным ценам, снятым с заезжего «форина», эластичным носкам, банке индийского кофе. Поездке к Черному морю – на заплыванный, полный бесноватого и нетрезвого народу пляж. Столовым с остывшими котлетами, штопаному белью в душной каморке. Радуетесь. Потому что не знаем, как бывает по-другому. И в этом наше советское, гордое счастье. Никому не знакомое и не известное – да и слава богу! Врагу такого счастья не пожелаешь.

Владик распалился, потом закрутил, а Маша, совершенно растерянная, не знала, как его успокоить и утешить – ей-то вся эта жизнь казалась, конечно, убогой, но все же не такой катастрофической. И не такой ужасной.

Она постеснялась сказать кавалеру, что работает на камвольном, и что-то пролепетала про техникум связи – почему-то именно это пришло ей в голову. А он особенно и не углублялся. Сказал, что институт бросил, фарцует, не бедствует, но... Тошно ему от этой жизни. Тошно от всего. Страха, как ни странно, нет, но на нары не хочется. Словом, денег полно, а толку? Ну, еще пара шмоток. Новая тачка. Квартира получше. Кабаки подороже. Икры побольше, шампанского. А дальше? А дальше – ноль. Ничего. Ни поездок по свету, ни домика

в горах, ни пустынного пляжа с белым песочком. Ни резвой, блестящей округлыми боками чужестранки-машинки.

И тогда спрашивается – зачем? Зачем все эти риски, глумливые менты, скользкие иностранцы? Зачем бабки, зачем? Чтобы съесть еще одну котлету де-воляй и выпить еще пару коктейлей? Снять телку на ночь?

Маша молчала, ошарашенная, испуганная. «Разве все так?» – думала она, но переспрашивать боялась. Боялась и стыдилась – наверное, своей серости. Своих родителей, живущих честно и безропотно. Первомайских и ноябрьских шумных застолий. Алого бумажного цветка на демонстрации – мечты и радости ее детства. Каникул у бабки в деревне. Мешков с картошкой, привезенных оттуда. Батарей банок с мамиными соленьями. Водки, настоянной на красном перце, – гордости отца. Их песен – про Родину, командира Щорса и про сладкую ягоду. Кухонного гарнитура в серую ряпушку – маминой гордости, полированной горки со штампованным хрусталем. Красного ковра на стене. Веточек вербы в молочной бутылке на кухонном окне. Чешских туфель из грубой кожи, советского лифчика грязно-голубого цвета. Таких же трусов – в голубой горох, с жестким кружевом... Всего! За все ей было сейчас стыдно, и все казалось таким нелепым и дурацким... Вся ее жизнь и жизнь ее семьи... Их родни, друзей и знакомых.

И еще – в тот же вечер, их первый, – Маша поняла, что влюблена в этого человека всерьез и надолго, скорее всего, навсегда. И пойдет она за ним куда угодно – лишь бы позвал.

Хоть на край света.

Он позвал, правда, не на край света – пойдете у нас на край света! Сибирь у нас край света – туда пожалуйста! Сами предложат. Пока, слава богу, не туда! А в квартиру на Беговую. Окнами на ипподром.

Навсегда? Ну, вот это – вряд ли! Ничего не бывает, девочка, навсегда! А на сколько – покажет время!

Кто ж его знает....

Он был ее первым мужчиной. Нежным, пылким. Неутомимым. Восхитительным. Когда под утро он уснул, она не сводила с него счастливых глаз – как он красив! Как печален. И как несчастлив. Потому что из другого теста! Не то что она, Маруся, и вся ее семья. Семья дураков – наивных и глупых.

Дождалась она своего принца. Дождалась. Глупая Валька. Глупая и несчастная. Только пожалеть ее, бедную, с ее пошлым золотишком и фингалами.

Про родителей Маша и не вспоминала – столько счастья, зачем думать о неприятном. И не знала, что ночью мать стала задыхаться и два раза приезжала «Скорая». И у отца с давлением – никак не сбивалось. «Да и черт с ним! – думал он. – Лишь бы Олюшку отпустило».

Домой Маша явилась к вечеру – для того чтобы забрать свои вещи, хотя Владик смеялся: – Забудь! Все *это* тебе не понадобится – гардеробчик, милая, надо обновлять. А то, прости господи, стыдно с тобой в люди, ей-богу! Ну завтра этим и займемся. И еще – в «Чародейку», к Боре. Он сделает из тебя человека. А потом и гардеробом займемся! Здесь, слава богу, проблем никаких.

* * *

Мать спала после уколов. Отец сидел на кухне и смолил папиросы. Увидев дочь, вскочил с табуретки и занес над ней руку. Увидел ее глаза, и рука сама собой опустилась.

– Сволочь! – только и сказал он. – Мать чуть на тот свет не отправила.

Маша ничего не ответила, попила холодного компоту и пошла в свою комнату.

Когда отец вошел, она уже застегивала большой клетчатый чемодан, с которым они когда-то ездили в отпуск всей семьей.

Отец смотрел на нее растерянно и непонимающе.

– Куда собралась? – хрипло спросил он.

Маша пожала плечами.

– Ухожу! Надоело. – И подняла на него глаза.

Он понял – останавливать ее бесполезно, да и незачем, наверное, раз так получилось. А когда за ней захлопнулась дверь, опустился на стул и... заплакал. Горестно и беспомощно. Как ребенок, у которого отобрали все.

Или как старик. Осознавший, что жизнь прожита зря.

Впрочем, так оно и было.

* * *

Там, на Беговой, Маша сразу принялась за уборку. Окна, плита, полы, унитаз. Владик, придя с «работы», брезгливо поморщился:

– Зря. Вызову тетку из «Зари», все помоеет и отскребет. Тебе это надо?

Почувствовал запах супа, пошел на кухню и приоткрыл крышку кастрюли. Покачал головой и поморщился.

– Вот этого точно не надо! – недовольно сказал он. – Суп я с детства ненавижу. Маман варила, чтобы сытнее было. Денег-то особенно не водилось. И все это: щи, гречку, пюре, котлеты – я, извини, не ем. В детстве обожрался. Так, что глаза не смотрят. Да, еще тушеная капуста – ну это, если захочешь моей смерти! Суп – в унитаз, и без обид. А ужинать мы сегодня идем в «Советскую». Бывший «Яр», слышала? – И, увидев ее дрожащие от обиды губы, рассмеялся. – Дурочка! Вот скажи, разве я предлагаю тебе что-то плохое?

Она покачала головой и через силу улыбнулась. Ничего плохого, разумеется. Сплошной праздник жизни. Придется привыкать, а что делать?

И подумала о сестре – как все похоже! Нет, глупости. У нее, Маши, по-другому. У нее принц, молодой и прекрасный. К тому же неженатый. И еще у нее – любовь!

Бедная Валька, несчастная сестрица! Только посочувствовать. От чистого и счастливого сердца.

* * *

Иван Кутепов молчал. Молчал на работе, молчал дома. Просто не отвечал на вопросы. На работе и так все ясно, мужики Ивана не доставали – знали, в доме бригадира беда. Жена болеет, да и все остальное... Дочки, красавицы, Валентина и Мария, ушли из дому. Куда? А вот этого никто не знал. Знали одно – не «в замуж» ушли. Не к добрым хлопцам, не к плите и малым деткам, а куда-то в плохую и непонятную честному рабочему человеку жизнь. Ходили сплетни – Валентина живет в содержанках у женатого, человека мутного и непонятного, с большими и нечестными деньгами. А младшая, Машка, и того хуже – со спекулянтом и противником родной советской власти, которая, между прочим, дала Кутеповым все – работу, квартиру, хорошую зарплату, садовый участок. Все, кроме счастья... Такие дела...

Мужики Кутепова не трогали и вопросов не задавали: придет в себя, оклемается. Жизнь – она такая. А может, еще все и наладится – всяко бывает. Образуются девки, вернуться к нормальной жизни. Хотя... Если уж пошло так криво... Странно даже – и Иван, и Ольга люди простые, работающие, скромные. Крепких и здоровых корней. И откуда такая напасть?

Иван приходил с работы, молча съедал тарелку супа, выпивал стакан крепкого чая и... снова молчал. В телевизор смотрел невидящими глазами, словно сквозь экран. Ольга вздыхала и... тоже молчала. Что тут говорить, когда такая беда? Был дом, была семья. Счастье... И где все это? Куда провалилось, в какую черную яму?

Ничего от прежней жизни не осталось. Ничего. Одни слезы. Как жить?

Выплакала все глаза – за дочек, за мужа. Давление, сердце, приступы удушья. «Скорые» одна за другой – днем и ночью. Постарела, высохла, поседела. И Ваня... был мужик крепкий, широкий – косая сажень в плечах, здоровая крестьянская кровь. А стал... сгорбился, как старик. Под глазами мешки, лицо серое.

А кого когда горе красило?

Пусто в их доме, как в могиле. Пустая, тревожная тишина – как в ожидании большой беды. Только разве может быть еще больше беда, чем та, что им выпала? Ни детей, ни внуков. Один позор.

Еще боялась, что Ваня запьет. Нет, признаков не было, слава богу. Но русский мужик, даже непьющий, может в бездну сорваться. Может! С головой и со всеми потрохами – как в омут. Когда силы закончатся и поймет, что ничего в жизни нет. И жить тоже не нужно. Зачем? Если без смысла...

Про дочерей не говорили – больно. Больно и стыдно. Только однажды муж у нее спросил: – За что, Олюшка? За какие грехи? Что мы с тобой пропустили? Что сделали не так?

Она вздохнула и пожала плечами. Ответила коротко:

– Не кори себя, Ваня. Ничего такого мы с тобой не сотворили. Просто такая судьба.

Иван заплакал – она впервые увидела его слезы – и стукнул все еще тяжелым кулаком по столу.

– Москва! Москва эта проклятая!

И снова зашелся в громком, отчаянном, лающем хрипе.

* * *

Валентина делала аборт три раза в год, не меньше. Рожать не хотела и от любовника своего походы в больницу не скрывала. А однажды чуть на тот свет не отправилась – сама решила ребеночка скинуть. Врачи говорили, что «скоблиться» больше нельзя – сколько можно? Напилась каких-то лекарств, выпила горячей водки с красным жгучим перцем и легла в горячую ванну. Там сознание и потеряла – сомлела. Чуть не захлебнулась и еле выбралась. Так и пролежала на кафельном полу часов десять. Застудилась до воспаления легких. Позвонила сестре – «своему» побоялась. Маруся прибежала, разохалась, вызвала «Скорую», и та увезла еле живую Валентину в больницу.

Пролежала она в больнице долго, почти два месяца. Маруся позвонила матери и коротко бросила:

– Валька в больнице, хочешь – навести.

Ольга спросить ничего не успела – дочь бросила трубку. Заметалась по квартире, бес толково пытаясь собрать какие-то вещи. Из дому выскочила, забыв закрыть на ключ входную дверь.

Прибежала в больницу, нашла дочкину палату, а увидев Валентину, завывла по-деревенски, как по покойнику, и осела на пол. Ее подняли, вкатили укол и положили рядом с дочкой на соседнюю койку.

Закрыла Ольга глаза и стала просить Бога – впервые в жизни, – чтобы он забрал ее к себе. Так молилась когда-то в деревне ее старая бабушка, видимо, просто устав жить.

Валентина, очнувшись от глубокого, лекарственного сна, увидела мать и... заплакала. Плакала долго, отвернувшись к грязноватой стене, покрашенной ярко-голубой, жизнеутверждающей краской. Ольга открыла глаза и тихо сказала:

– Не плачь, доча! Все наладится. И скоро поедем домой.

Валентина замотала головой:

– Нет, мам. Не наладится. И домой я не поеду.

Вечером в больницу примчался Иван. Увидел двух своих женщин, лежавших на соседних кроватях. Сел на стул, уронил голову в крупные рабочие руки и... завыл, как раненый медведь. Дико, страшно.

Валентина отвернулась к стене. Ольга смотрела в одну точку. Обе молчали.

А Иван, раскачиваясь на стуле, приговаривал только одно:

– Что ты сделала со своей жизнью, Валька! И с нашей тоже...

Через неделю Ольгу забирала из больницы соседка, Таня Гусева. Иван не смог – запил. По-черному запил, страшно. Как когда-топил его дед – сидя на полу, отекавший и опухший, в луже испражнений, мычавший, точно животное, пугая жену и внуков. Страшно.

Ольга долго не уходила из больницы – сидела на краю дочкиной постели, гладила ее по руке и умоляла вернуться домой.

Валентина повернула к ней бледное худое лицо и коротко бросила:

– Отстань. Бесполезно.

Таня Гусева увела Ольгу из палаты – справа она, Таня, слева медсестра. Под обе руки.

* * *

Через две недели Валентину выписали. Приехала за ней Маруся. Сели в такси, и та спросила:

– Ну и куда тебя?

Боялась, что сестра скажет: «Забери к себе хоть на время. Пока оклемаюсь». Ну как она приведет Валентину к себе? Вернее, не к себе – к любимому. Можно представить, что доволен он не будет. Характер у Валентины не сахар, а с болезнью уж точно не улучшился. Капризничает, вредничает, подначивает. «Ох, поломает она мою жизнь, поломает! И счастье мое поломает – как пить дать! Знаю я Вальку как облупленную», – тревожно думала она.

Но – пронесло! Валентина коротко бросила:

– Домой! На Шаболовку.

Маруся облегченно вздохнула – получилось громко, Валентина бросила на нее взгляд, криво усмехнулась и сказала:

– Что, испугалась, милая?

Та смущенно отвела взгляд: «Да ну ее! С ней лучше не связываться. Злющая, загрызет».

Проводила сестру до подъезда, потопталась на пороге квартиры, учуяла – пылью пахнет и гнилью какой-то, что ли. Поставила Валькину сумку и спросила:

– Пойду? А то счетчик-то тикает!

Валентина снова усмехнулась и кивнула:

– Да иди. Толку-то от тебя... Как от козла молока. Поспешай, а то опоздаешь своим счастьем насладиться!

«Вот точно – завидует!» – злорадно подумала Маруся.

И вздохнула – есть чему. Понимает ведь, не дура! Ох, бедная Валька. Злющая, колючая, но... Бедная! Что ж, у каждого своя судьба. Кому розги, а кому пряники. Сама выбирала – никто не заставлял. Что ж тут поделать?

Дома ее ждал хмурый возлюбленный. Резко бросил:

– Где тебя носит?

Она залепетала, оправдываясь. Он перебил:

– Меня все это не колышет! Изволь быть дома – хотя бы к моему приходу. – Бросил на диван книжку, оделся и ушел, громко хлопнув дверью.

Маша от обиды расплакалась и, утирая слезы, подумала: «Все, к чертям! Никогда больше. Самое главное – он. Он и я. Все, точка. Больше никто. Никто не важен и никто не нужен. У меня

своя жизнь и свое счастье. И рушить его я не позволю. Никому». Прилегла на диван и отодвинула книжку – листки какие-то. Перепечатанные. Какой-то Солженицын, «В круге первом». Никогда не слышала. Любит он всякую муть, нормальным людям неизвестную. Начитается, а потом расстраивается. Брови хмурит, курит, молчит. Квартиру шагами меряет. И зачем такое читать? Только глаза портить – шрифт-то мелкий, плохо пропечатанный. Глаза и настроение – себе и ей. Дурь какая-то, не иначе. Вздохнула и закрыла глаза. Тяжелый какой-то день. Мрачный. Валька эта, он... Ушел, дверью шарахнул. Характер – не мед. Обижается долго, обстоятельно. Молчит, на вопросы не отвечает. Словно сыч. Пока помирятся... Дня три пройдет, не меньше. Что ж, Маша привыкла терпеть. И на этот раз стерпит. Потому что есть ради чего.

Ради любви – вот чего. И еще – ради их ночей. Таких сладких и таких... что даже не по себе становится. Кошмар какой-то.

Опять вздохнула, тяжелее прежнего – вот ведь привязал к себе! Крепче каната. Правильно Валька говорит – какая самая тяжелая операция для женщин? Не аборт – ни-ни. Правильно. Удаление члена из головы.

Правда, Валька выражается еще покрепче. Стыдоба.

Грубо, смешно, а ведь правда!

Маруся сладко улыбнулась, вспомнив их с Владиком жаркие ночи, и прошептала:

– Привязал, не отвяжешься. И не хочу – не приведи бог!

* * *

В доме Кутеповых стало совсем тихо. Исчезли гости, испарилась родня. Даже братья и сестры из деревни перестали приезжать – слух, он ведь быстро по земле ползет, быстрее ветра. Особенно печальный. Ольга, как всякая женщина, оказалась покрепче своего сильного мужа. Поднимала себя из постели, прибиралась в доме – не так, как раньше и как привыкла, слегка. По верхам – пыль протрет, и ладно. Кое-как готовила и обед – тоже что попроще. И самой тяжело, и мужу все равно – похлебает, не разобрав, и буркнет дежурное «спасибо».

Исчезли запахи сдобных пирогов и сладких булочек с вареньем и запах вишневой наливки в огромной, зеленоватой бутылки, прихваченной из деревенского погреба. И не краснели, не переливались румяными бочками ровные помидорки, упакованные в трехлитровые банки – на долгую зиму. Запылился и посерел любимый Ольгин ковер на стене – красный с золотистыми цветами и разводами. И люстра-обманка потускнела, не хрусталь, конечно же, нет – но очень похоже. Особенно когда чистая – висит и переливается, хотя и пластмасса. «Каскад» называется. В очереди отстояла за ней два часа. Вот счастья-то было...

Господи! Сколько же тогда было счастья! Не жизнь – одно огромное сплошное счастье!

А ценила ли? Да, разумеется, ценила. Не такой она человек, чтобы хорошего не замечать. Ценить – ценила, а вот *оценить* все тогда не могла. Как много у нее было счастья. Как много радостей, тепла и надежд.

Надежд! Вот что главное. А когда без надежды... Для чего тогда жить?

Теперь на уме и в сердце было одно – Ваня. Даже боль из-за дочерей отошла на второй план. Да и понятно – детей у нее... нет. Как ни горько об этом думать. А вот Ваня есть. Ее муж, ее друг. Любимый человек. И больше никого на всем свете. Надеяться не на кого.

Вот и получается – надо друг друга беречь. Поддерживать. Плечо подставлять. Потому что она без него – ну, все понятно. А он без нее и вовсе пропадет. Мужик, он же только на вид мощный. А поглубже копни...

А Ване лучше не стало. Так и ходил по земле, волоча ноги. Словно не жизнь у него, а мука вселенская. Впрочем, так оно, наверно, и было.

Пыталась завести разговор о дочках:

– Ну всяко в жизни бывает. У всех по-разному складывается. Живы – и слава богу! Чего нам, родителям, еще надо...

Но он ее обрывал на полуслове и начинал кричать, да так... что сердце останавливалось – от страха за него. И она эти разговоры прекратила – к чему?

* * *

Однажды Иван увидел свою младшую дочь Марусю. Случайно, на улице. Так и замер с открытым ртом – волосы крашенные, как будто седые. Глаза аж до висков намалеваны. Губы в красной помаде. А главное – сиськи до пупа вывалены. И юбка кончается там, где у приличных женщин только начинается. Не стыд – срам божий. Идет, жопой виляет, грудь колышется. Ржет, как лошадь. И под ручку мужика держит – не мужика, а так... Хилого, узкоплечего. Портками зад обтянут – того и гляди треснет. Очки темные на носу – видно, глаза показать стыдно. Сигаретка в зубах, и цедит что-то. А та дура наклоняется к нему, в очки эти пижонские срамные пялится и заливаается по новой, как в цирке на премьерке. А потом – ох, лучше бы не видеть! Потом сигарету из сумки вынула и от его прикурила.

Иван чуть вслед не кинулся, в голове закипело – догонит и прямо убьет. Просто кулаком по башке тупой стукнет его и ее – и все, с концами. Он стоял как в ступоре, пока дочь со своим ухажером в такси не прыгнули и не укатили. Потом, очухавшись, рванул с места, да поздно. Не успел.

А чего не успел? Прибить дочь родную?

Зашел в рюмочную и напился. До соплей. Так, что рухнул на лавочке в сквере. Там его менты и подобрали. Проснулся он под утро – огляделся и ни черта не понял. Стены белые, простыня... И только потом дошло, что в вырезвители. Вот какой позор... будет тут и письмо на работу, и Ольгины слезы... Как она там? Ведь целую ночь в неведении.

Никогда – даже с уходом из отчего дома беспутных и подлых дочерей – не было в жизни Ивана Кутепова, заслуженного строителя, героя соцтруда, бригадира и секретаря партийной ячейки, человека кристально честного, надежного и верного, такого позора и краха.

«Кончилась жизнь», – с тоской и стоном подумал он. Кончилась. Потому что жить после этого вряд ли сможет. Потому что есть у человека совесть и честь. Качества, не передаваемые, как оказывается, по наследству.

Как пережила ту ночь Ольга, она сама не помнила. Помнила одно – лежала на кровати и снова молила бога о смерти. А потом... Задремала, наверное. Потому что, когда открыла глаза, Ваня стоял на коленях у кровати и плакал.

– Жить надо, Ванечка. Или – помирать. Другого выхода нет, – прошептала она.

Он почему-то улыбнулся, отчего ей стало как-то неуютно и даже страшновато, и кивнул.

– Будем, Олюня. Куда ж денемся! – И засмеялся каким-то незнакомым и непонятным, скрипучим, дробным и злым смехом.

И на сердце от этого смеха стало еще тоскливее и тяжелее.

Но вздох свой, прерывистый, сиплый и тяжелый, она сдержала – не дай бог, услышит и усомнится.

Что жить они теперь будут.

* * *

Валентина звала сестру в гости. Та отказывалась и ссылалась на неотложные дела.

– Какие у тебя дела? – злилась Валентина и обиженно швыряла трубку. – Вот сука!

А дел и вправду особенно не было – в магазин ходить не надо, сам все привезет и доставит. По благу, разумеется: и продукты, и тряпки, и духи, и косметику, и американские сига-

реты. За фруктами и овощами – на рынок, к кавказцам. Там все свежее и пахучее – и персики, и помидоры. Стоять у плиты тоже ни к чему – почти каждый вечер они в ресторане. Там у Владика «дела и делишки». Шепчется с разными «нужными человечками». Маруся сидит за столом, «шампусик» попивает и черной икрой закусывает. Владик научил – на свежий огурец. Хлеба наказал не есть:

– Ты, Мария, расположена к полноте. Разожрешься – брошу.

Сидит она, значит, покуривает, по сторонам поглядывает. «Счет» всех на раз – научилась. Эта – любовница. Эта – путана. Эта – жена, все меню вычитывает, что подешевле. И про мужиков тоже все знает – вот этот деляга. Из «больших». Этот мелочь, фарца туалетная. Этот, представительный, торгаш. Директор базы или универмага. Не из простых. Этот задохлик гуляет на заначку от жены. И скорее всего, со своей сотрудницей. А та разведенка. Вот сейчас на грудь примут, оливье докупают и потащит сотрудница этого хмыря к себе в Кузьминки на общественном транспорте.

Два часа покувыркаются неумело, хмырь, тонкогубый «смельчак», протрезвеет и рванет домой, перепуганный до смерти – и деньги профукал, и супружница скандал закатит.

Эти две козы – вообще смехота! Старые вешалки, уж точно за сорок, коньяком наливаются и глазками опухшими по сторонам стреляют – по мужикам, называется.

А ее Волчок дела обделаает, с нужными людьми перетрет и за стол – рюмочку «Наполеона» пропустит, хлебушек с белугой куснет и – снова за чужой столик. Дела.

А Маруся не скучает, привыкла. Только потанцевать хочется. Но нельзя. Несолидно. Она – женщина серьезного человека.

Однажды в дверях столкнулись с Валентиной и ее волосатым. Тот на нее посмотрел, золотым зубом цыкнул и дальше пошел. А Валентина за ним засемила:

– Потом позвоню.

А Волк от смеха чуть не помер:

– Ну и кадр у твоей сеструхи! Просто журнал «Крокодил»...

А Валентина ничего, оклемалась. Поправилась, порозовела. И пальто на ней шикарное – твидовое, с бурой лисой. Австрия.

А однажды Маруся от страха чуть не окочурилась. К ним нагрянули с обыском. Среди ночи. Весь дом перевернули. Ей даже одеться не дали – так в ночнушке и сидела на батарее. А под утро забрали ее Волчка. Увели. Она по квартире металась, как рысь бешеная. Две пачки скурила и не заметила. Позвонила Валентине, а та коротко бросила:

– Не смей звонить мне, идиотка! Ты что, не понимаешь, телефон могут прослушивать!

И все. Позвонить больше некому – ни друзей, ни подруг. А у Волка в записной книжке все под цифрами – ни одного имени. Только родители и Арик. Дозвонилась Арику, а тот – хуже Вальки испугался. Трубку швырнул, прошипев:

– Не звони, дура оловянная!

Слава богу, Волк вернулся – поздно вечером. Смотреть страшно – бледный, измученный, под глазами чернота. Зашел, выпил стакан водки и рухнул в кровать.

– Меня не буди! – бросил он и вырубился. Почти на сутки. А когда проснулся, сказал, что с квартиры они будут съезжать. И «надолго залягут на дно».

– Так что веселье временно закончилось, – объявил он и станцевал вприсядку, лупя себя по ляжкам. – И тряпки твои, Маруся, закончились! И кабаки! И черная икра с коньяком! – выкрикивал он, продолжая громко и отчаянно веселиться. – Ну что? Оставишь меня теперь, верная подруга жизни?

– Да не надо мне, – обиделась она. – Что я с тобой, за коньяк? Лишь бы ты... – всхлинула она, – рядом...

Это почему-то его еще больше развеселило, уже не смеялся, а ржал.

А потом вдруг осекся и коротко бросил:

– Посмотрим, на что ты способна.

Переехали. В Мневники – дом старый, довоенный. Горячая вода из газовой колонки. Первый этаж, по подъезду носятся крысы – ничего не боятся. Войти страшно. А еще страшнее обнаружить эту гадость на кухне или в туалете. В старом холодильнике, по виду тоже довоенном, вонь и пустота. Денег нет – он объяснил, что ничего не осталось. Все проели и пропили, прогуляли. А то, что он *выскочил*, – большое счастье. За спекуляцию и – еще страшней – сам издат присесть можно было надолго. Волку вежливо предложили «стучать». Он согласился – куда деваться? Только стучать он не будет – много *им* чести. И вообще – *западно*.

– Так что сидеть нам в Мневниках до конца жизни. А, Марусь? И радоваться, что хорошо отделились!

Но с того дня он стал невыносимым. То молчал, то орал – страшно, шепотом. Громко боялся – услышат соседи и стукнут куда надо. А от его «тихого» крика было еще страшнее. Шугался и вздрагивал от каждого скрипа и шума. Из дома почти не выходил – только поглядывал из-за марлевой, кухонной занавесочки на свет божий.

– Ты как Штирлиц прям, – пробовала шутить Маша.

Волк ожесточенно крутил пальцем у виска и делал страшные глаза. Шипел:

– Дура! Тебя бы *туда*. На пару часов.

Иногда чуть приходил в себя и тогда тяжело вздыхал:

– Все рухнуло, всё! Я-то думал, капуста нарублю – потихоньку, курочка по зернышку, переправлю с Эдди и свалю к чертовой матери. А сейчас... – На его воспаленных от бессонницы глазах вскипали слезы. – Все пропало, все! – И Владик начинал бегать по комнате, размахивая руками: – Жизнь пропала!

Маруся помнила этого Эдди – чернокожий, страшный как смертный грех. А дипломат! Из какой-то африканской страны. И еще не очень понимала, что же такого страшного произошло. Ну да – «взяли». Да, приказали «не высовываться» – какое-то время. Но – это же пройдет! И наступит другая жизнь, красивая и приятная. Все же временно. И денег он снова заработает – молодой ведь, вся жизнь впереди!

А может... Может, они еще и поженятся... Детишек народят. Квартиру купят кооперативную, машину. К родителям будут в гости ходить – к его и к ее. А те будут внукам радоваться. И наладится жизнь!

Ну, не бывает же по-другому. Ведь как говорят – белая полоса, черная. Недаром жизнь называют зеброй.

Маруся ходила в магазин и покупала картошку и крупы. Варила пустые щи. Волк плевался и швырял ложку. Она плакала и просила прощения.

На себя смотреть в зеркало не хотелось – волосы, давно не знавшие ножниц хорошего мастера, отросли и унылыми прядями висели вдоль лица. Хорошие кремы закончились, кожа посерела и постарела – от курева и слез. Косметика тоже закончилась – помаду она выковыривала из тюбика спичкой. В тюбик с тушью подливала воду. В лак для ногтей – ацетон.

Как-то сказала Волку:

– Работать пойду!

Он рассмеялся.

– Иди! На фабрику свою, что ли? Иди. Паши за сто рублей с утра до ночи. Колбасы ливерной купим. Собачьей! Водки дешевой. И с гармошкой к подъезду – где все упыри соседские развлекаются. – И зло добавил: – Дура! На что ты еще способна?

Маша разозлилась:

– Вот докажу тебе! И любовь свою, и способности!

Только как? Сначала отвезла в ломбард сережки и колечки. Проели, заплатили за квартиру. Деньги быстро растаяли. Что дальше?

Шла однажды по переходу. Увидела – стайка разноцветных и пестрых цыганок продает тушь, помаду и прочую лабуду. Подошла к одной, немолодой, с папироской в золотых зубах. Купила тушь и помаду. Цыганка сверкнула золотым зубом:

– Перебиваешься, девка?

Маша вздрогнула, не сразу поняв смысл сказанного, а потом кивнула.

– Постой тут вместо меня. Пару часов. Мне к доктору по зубам надо – третий день болит. А я тебе трешку дам. Ну, или пятерку, – после минутного раздумья сказала цыганка.

– Да с радостью! Торопиться мне некуда, – вздохнула она, – да и пятерка не помешает.

Цыганка сплюнула и кивнула:

– Ну, лады! Только не сбеги с товаром – соседки присмотрят.

Маша встала в сторонке, держа в кулаке тюбик «цыганской» косметики чуть высунутым – чтобы, если появятся менты, быстро спрятать и сделать вид, что она стоит просто так.

* * *

Иван Кутепов шел по переходу. Медленно, не торопясь. В аптеку за лекарством для жены.

Глянул на пеструю толпу гомонящих женщин, сбившихся вдруг в тревожную стаю. В переход быстро спустились милиционеры, жадно оглядывая спешащий народ, бросились наперез цыганкам и окружили их плотной стеной. Цыганки завопили, размахивая руками и тыча в лица милиционеров свертки с грудными детьми.

Начался шум и гам, и стражи порядка потащили торговки вверх, на свет божий. Среди толпы была испуганная молодая женщина, одетая не по-цыгански, светловолосая и очень бледная. Иван остановился и схватился за сердце. В белокожей испуганной блондинке он узнал свою младшую дочь – Марусю.

Хотел за ней броситься – да замер на месте. Не шли ноги. Не шли.

* * *

Ольга почти не вставала с кровати.

– Жить не хочется, Ваня! – словно извиняясь, говорила она мужу. – Силы кончились.

А однажды утром, в воскресный погожий апрельский денек, Ольга не проснулась.

Иван хоронил жену, не проронив ни единой слезинки. Молча стоял у гроба, молча поцеловал Ольгу в лоб, молча бросил еще холодный ком земли на крышку гроба. И молча пошел с кладбища прочь.

На поминках, устроенных женами его приятелей в маленьком кафе у метро, тоже молчал. Не закусывая, пил водку и смотрел в пустоту – ничего не замечая и не прислушиваясь к тихим разговорам и перешептываниям. С поминок ушел первым, никому не сказав ни слова. Люди не осуждали – столько горя человеку досталось. Господи не приведи!

Войдя в квартиру, Иван Кутепов по-деловому быстро оделся – сапоги, старая куртка, кепка. Взял рюкзак с антресолей и двинулся на вокзал. Шел он быстро, по-молодому, высоко подняв голову. Купил билет и уселся в вагон. Поезд двинулся, унося Ивана из огромного шумного прекрасного города, именуемого столицей нашей необъятной родины. За окном уже мелькали пролески, редкие деревушки с покосившимися избами, еще пустые огороды и палисадники. Голые весенние поля, переезды, мосты, шлагбаумы. Небольшие городишки, дороги с редкими машинами, еще более редкие телеги, запряженные усталыми и понурыми клячами.

Иван смотрел, не отрываясь, в окно, слегка удивляясь, что жизнь, оказывается, не кончилась. Течет.

Поздно вечером он сошел на маленькой станции и бодро зашагал по знакомой дороге. На улице было темно и сыро, но он знал дорогу как свои пять пальцев, углубился в густой лес и встал на узкую «местную» тропку. С пути ни разу не сбился.

На пригорке показалась деревушка, домов восемь. Кое-где тускло светились окошки. Он подошел к одному, пнул ногой дырявую калитку и уверенно пошел к дому.

Ключ от дома висел на гвозде у крыльца. Дверь открылась, и Иван вошел в избу. Поморщился – дом, выстуженный за зиму, пронзил ледяным дыханием, острым мышинным запахом и запахом плесени. Иван спустился в подпол, с трудом подняв тяжелую, разбухшую от влаги, крышку. Зажег свечу, привезенную из дома, и скоро увидел то, за чем, собственно, приехал.

Ружье, еще отцовское, старая берданка, стояло на месте – там, где когда-то его и оставили. Иван взял его в руки, придирчиво осмотрел и полез наверх. Потом достал кусок хлеба с колбасой, взятый с поминок, открыл початую бутылку водки, выпил из горла, медленно сжевал бутерброд и улегся на кровать, застеленную старым ватным одеялом.

Поежился, накинул сверху тяжелый и влажный ватник и, отвернувшись к стене, громко и облегченно вздохнув, уснул. Рано утром, еще не было и шести, бодро встал, взял рюкзак, ружьишко и вышел во двор.

На крыльце поднял голову – только-только взошло еще белое солнце, обещающая теплый и яркий денек. Он посмотрел на голубоватое чистое небо, темный лес, стоящий полукольцом вдоль деревни, на темные домики, покосившиеся крылечки и заборы, на серое поле, лежавшее вдаль, – на места, где прошла его счастливая молодая, полная светлых и радужных надежд, такая, оказывается, короткая, просто молниеносная, жизнь и...

Быстро пошел к лесу. Чтобы никого, не дай бог, по дороге не встретить.

На вокзале купил билет и поехал обратно, в столицу. В прекрасный город, о котором мечтают многие и куда так стремятся попасть.

В поезде он снова уснул, крепко прижимая к себе свой потертый и ветхий рюкзак.

* * *

Адрес старшей дочери, Валентины, Иван знал давно – выследил. Адрес младшей узнал не сразу.

Сначала он поехал домой и крепко выспался. Встал под вечер, долго умывался, выпил крепкого чая, заварив его прямо в кружке, собрался и двинулся в путь.

Ему повезло – ну должно же когда-нибудь повезти честному человеку! – и Валентининого любовника, волосатого торгаша, он ждал недолго. Тот, тяжело вылезая из светлой «Волги», побрякивая и поправляя ремень на толстом пузе, с тяжелым пакетом в руках медленно пошел к подъезду.

Иван вышел из-за высокого тополя и вскинул ружье. Грянул негромкий выстрел, вспугнув стайку воробьев на деревьях и голубей на козырьке подъезда.

Мужчина с пакетом, тяжело охнув, некрасиво осел на асфальт.

Иван Кутепов довольно усмехнулся и пошел прочь со двора.

На перекрестке он поймал частника и коротко бросил:

– В Мневники.

В окне первого этажа горел свет. Он зашел в подъезд, достал свое верное ружьишко и позвонил в дверь.

Дверь не скоро открыла Маруся. Увидев отца, охнула, застонала и привалилась к дверному косяку.

Иван отодвинул ее и прошел на кухню.

Худощавый и сутулый парень сидел за столом и, читая газету, пил молоко.

Увидев неожиданного гостя, он вскинул красивые брови и чуть привстал с табуретки.

– Сядь, – бросил Иван и навел ружье.

Тот покорно опустился на табурет. Потом поморщился, криво усмехнулся и косо приоткрыл рот.

– Молчать! – приказал Иван и нажал на спусковой крючок.

Запахло порохом, и поплыла струйка темного дыма. Мужчина медленно и громко рухнул на пол.

Иван удовлетворенно кивнул и пошел в коридор.

Маруся стояла там же, все в той же позе, прикрыв рот ладонью.

– Ну что, дочка, – с тихой улыбкой сказал Иван, – кончились ваши муки! Твои и Валькины. Заживете теперь как люди. Поняла?

Дочь испуганно кивнула.

– Вот, – довольно прибавил Иван, – вот и я о том же! Нету больше ваших мучителей, поняла?

Маруся опять кивнула.

– Заживете по-людски, да, дочь? Чтобы семья там, детишки... Вы ж еще молодые! Вся ж жизнь впереди! Долгая и счастливая! Правда, Марусь? – И снова улыбнулся светлой полубезумной улыбкой. Затянул веревку рюкзака и спокойно сказал: – Ну, я пошел!

Маруся, продолжая зажимать рот рукой, всхлипнула, еле сдерживая крик, и снова кивнула.

У двери Иван обернулся и строго сказал:

– Спешу, понимаешь?

Она услышала стук подъездной двери и медленно осела на корточки, теперь уже завыв в полный голос.

* * *

Иван Кутепов бодро шагал по темной улице. Доехал на автобусе до метро, доехал до станции «Университет» и так же бодро поднялся вверх.

Увидев светящийся огонек с вывеской «Милиция», он прибавил шагу – заторопился. Зашел в отделение, подошел к окошку дежурного и, слегка откашлявшись, обратился к молодому лейтенанту:

– Сынок! Сдаваться я пришел! Слышишь?

Лейтенант поднял на него голубые, в белесых ресницах, глаза и задумчиво посмотрел.

– Сдаваться, понимаешь?

Лейтенант вздохнул и кивнул:

– Понимаю, батя! Выпил крепко?

– Да нет, – отмахнулся Иван. – Тверезый я. Бери меня, сынок, тепленького. Людей я убил! Не одного – двух! – Потом подумал и добавил: – Хотя какие они люди... Шлак и дерьмо. – Иван Кутепов протянул руки: – Вяжи, милый! Ну что там у вас положено?

* * *

Умер он той же ночью от обширного инфаркта в предварилровке, на холодном полу. В одну секунду – ну должно же было еще раз повезти хорошему человеку!

Три тополя в Новых Черемушках

Нина не видела ничего, кроме широко распахнутых и испуганных глаз Котика. Бледный, худенький, встревоженный, он привстал на сиденье, чтобы еще раз посмотреть на нее, и она заметила, как задрожали его губешки.

Раздался бравурный марш, все испуганно вздрогнули, заревели дети – дружно, хором, как по команде, и автобус резко рванул с места. Мамаши бросились за ним вслед – увозили их деток. Их счастье, тревогу и боль.

Нина завывала в голос и тоже рванула вперед. Клавка догнала ее, больно вцепилась ей в локоть и гаркнула в ухо, пытаясь перекричать рвущую душу музыку:

– Стой, дура! Стой, оглашенная!

Нина вырвалась и неловко побежала. Клавка нагнала ее снова и с высоты своего роста жестко схватила за плечо.

– Стой! Кому говорят! Прямо под колеса, коза полоумная! Остановись! Взлетишь ведь!

Автобус почти исчез с горизонта, потерялся среди себе подобных, а мамыши и бабки продолжали стоять на площади, утирая слезы и жалобно причитая.

Наконец все медленно стали разбредаться – кто к метро, кто на трамвай, а кто и пешком.

Суббота. Детей отправляли в субботу. В летний детский сад, на природу.

Печальные матери теперь были свободны, но, казалось, это их совсем не радовало.

Нина продолжала стоять на том же месте, где упорная Клавка поймала ее на лету.

Клавка достала пачку сигарет и смачно затянулась.

– Уф! Ну, вы и придурочные! Счастья своего не понимаете!

Нина вяло отмахнулась:

– Что б ты понимала в женском-то счастье! – Она громко всхлипнула, высморкалась в носовой платок и растерянно посмотрела по сторонам.

Клавка, видя замешательство подруги, звонко хлопнула ее по плечу и засмеялась.

– Ну чё? Двинули, что ли?

Нина вздрогнула.

– Куда еще?

– Да в кафе! Посидим как люди! Винишка попьем! Кофейку! А хочешь, водочки тяпнем? За новую, так сказать, свободную жизнь!

Нина покачала головой и отмахнулась:

– Да ну тебя! Скажешь тоже – кафе! Ты б еще ресторан придумала.

– Да пожалуйста! – рассмеялась Клавка. – Можно и в ресторан! Чё мы, не люди, что ли?

Нина снова покачала головой:

– Иди ты! Мне только по ресторанам... И вообще... Какое там «посидим»! Домой я. Настроение, знаешь ли... Не до развлечений.

– Ага! – разозлилась Клавка. – Вот давай! Домой. Приди и рыдай как белуга. Знаю тебя. Радости жизни тебе не знакомы. Только бы ныть и скулить – самая бедная, самая несчастная. Ни денег, ни сына.

Нина обиделась и снова была готова разреветься.

– Ну, знаешь ли! – Она резко развернулась и пошла прочь.

Клавка нагнала ее и примирительно сказала:

– Ладно. Не дуйся. Это я так, чтоб взбодриться.

Она взяла подругу под руку, и они вышли на Кировскую.

Стояла жара – совсем не типичная для начала июня. Тополиный пух, прибитый к асфальту, напоминал счесанную собачью шерсть. Счесанную и неубранную.

Нине, полноватой и тяжелой, было невыносимо жарко и душно, так что прихватывало сердце и стучало тяжелым колоколом в голове, а тощей Клавке – хоть бы что. Ни капельки пота на крупном, некрасивом лошадином лице.

Клавка вела Нину уверенно, точно зная куда. Наконец, остановившись перед массивной коричневой дверью, с усилием толкнула ее.

Они вошли в помещение – Нина робея, а ушлая и наглая Клавка, как всегда, уверенно.

В зале стоял полумрак и тишина и даже было вполне прохладно. Они уселись за столик у окна, и к ним не спеша, словно делая большое одолжение, направился официант – рыхлый белобрысый парень с косою ухмылочкой на невыразительном, отеком лице.

Он молча кивнул и положил на стол меню в коричневом переплете.

Клавка деловито открыла папку и бегло пробежалась глазами.

– Так, значит! – Она сглотнула слюну. – Салатика два с помидорами. Одну селедочку с луком. Бифштекс с картошкой. Два, разумеется. И триста грамм. Беленькой! – Она чуть прибавила нажима в голосе.

Официант кивнул, снова ухмыльнулся и медленно отошел от их столика.

– И не тяните там! – крикнула ему вслед наглая и уверенная в себе Клавка.

Нина вздрогнула – вот и будет сейчас скандал!

Но скандала не случилось, а официант чуть прибавил шагу и бросил на Клавку уважительный взгляд.

– Есть не хочу, – заявила Нина и сморщилась. – Нет аппетита.

– Ага, – кивнула подруга, – и ты мне тут еще поговори! – Она снова закурила, картинно выпустив в потолок тонкую струйку дыма.

Официант принес водку в прозрачном графинчике, салат из помидоров и селедочницу, в которой красивыми и крупными кольцами лука была прикрыта серебристо-перламутровая, крупно нарезанная селедка.

Клавка громко и плотоядно сглотнула слюну и нацелилась вилкой на кусок пожирней.

Официант разлил в стопки холодную водку. Клавка опрокинула стопку и громко крикнула, кивнув острым подбородком на застывшую Нину.

– Ну, и чё? Любоваться будем или...

Нина мотнула головой.

– Говорила ведь, не хочу! Ни пить, ни есть. – Она скорбно поджала губы.

Возмущенная Клавка откинулась на стуле и зло прищурила глаз.

– Та-ак! Ну, правильно. У нас ведь горе горькое. Беда ведь у нас просто. Трагедь, так сказать. Потоп всемирный!

Нина молчала, уставившись в окно.

Клавка шмякнула вилку на стол.

– Нет, вот не понимаю я! Хоть убей – не понимаю!

Нина усмехнулась. Мол, куда тебе. Но – промолчала.

А Клавка продолжала возбужать:

– Нет, только посмотрите на нее! Бедная, несчастная! Ребенок у нее, видите ли, на природе уехал. В лес. На озеро. На воздух, твою мать! Зарядка, прогулки, весь день на воздухе. Няньки, воспиталки, врачи... Сто нянек вокруг, дети! Питание диетическое. Господи! Да другая бы – умная, конечно, – от радости штаны бы потеряла. Орала бы в голос. Три месяца покоя! Сама себе хозяйка! Ни готовки, ни стирки, ни глажки. В воскресенье – спи до отека. Никто не разбудит. По магазинам не бегать за куском колбасы. Никто не ноет и ничего не просит. А главное, – тут Клавка наклонилась к Нине, – ребенку хорошо! – Она замолчала и с негодованием посмотрела на подругу. – Но ей плевать! Плевать ей, святой такой матери, на все это. С высокой колокольни. Не ребенок ее волнует, а она сама! Скучать она, видите ли, будет! Непривычно ей, видите ли, одной в квартире. Без сыночка драгоценного. А то, что сыночек бы

сейчас по жаре, да в городе, – вот на это ей, простите, насрать! – Клавка резко опрокинула в широко раскрытый рот следующую рюмку.

Нина хмурила брови и по-прежнему обиженно молчала. Клавка ожесточенно кромсала кусок жесткого, не поддающегося тупому ножу, мяса.

– Эй! – крикнула она официанту. – Не спи, замерзнешь!

Тот резко дернулся и бросился к ней.

– Это чего? – спросила Клавка, указывая глазами в тарелку.

Официант недоуменно пожал плечами:

– В смысле?

– В смысле? – уточнила Клавка. – А ты вот давай, пожуй! Деловой. Или – ножи поточи. Хотя бы. У меня – зубы, а не акульи челюсти! – Клавка почти кричала. – Понял, что ли?

– Так ведь бифштекс! Мя-со. Коровье к тому же, – пытался оправдаться официант.

Клавка зловеще, по-мефистофельски, расхохоталась.

– Да что ты? Мясо, говоришь? Ну надо же! А я думала – рыба. Коровье! Сам ты – коровье! Только не мясо! Понял?

Официант, красный как рак, мелко закивал головой.

– Заменить?

Клавка кивнула – ну, ни дать ни взять английская королева, – молча так, с достоинством.

Тот подхватил тарелки и опрометью бросился на кухню.

Клавка с гордостью и удовлетворением посмотрела на подругу – свысока посмотрела. Типа, ну как? Видала? Как я его?

Нина, красная от стыда, смущения и страха (а вдруг сейчас – милицию? хулиганство какое-то!), посмотрела на подругу.

– Ну, ты вообще! Ужас какой-то! Прямо стыдно с тобой выйти куда-нибудь!

– Ага, страшно! Стыдно таким мясом людей кормить. Да еще и за деньги!

Нина, ожидая худшего, выпила одним глотком полную рюмку.

А через десять минут официант притащил сковородку с картошкой и мелко нарезанным, сочным, шипящим мясом.

– Поджарочка! Свиная! Во рту тает. Водочки? – осведомился он.

Клавка гордо кивнула.

Нина внезапно почувствовала, что захотелось есть. Очень захотелось! У нее так всегда – как только нервы, так сразу хомячить, по словам мамы-покойницы.

Мясо и правда таяло во рту. После третьей рюмки чуть отпустило, но она почувствовала, что совсем пьяна – ну просто вдупель, как говорила Клавка.

Расплатилась щедрая Клавка – щедрая, потому что пьяная. На трезвую голову от нее и снега прошлогоднего не допросишься. А тут – само благородство:

– Да ладно, сиди! Мне Ашотик вчера подкинул!

Ашотик – один из любовников Клавки. Есть еще несколько – Мишка-таксист, Лешка-строитель и Пашка-студент. Сопляк, совсем мальчишка. Клавка была «беспринципная», как говорила Нинина мама.

И вправду – беспринципная. Зато – не одна.

Нина вздохнула. А ведь посмотришь на нее – кобыла кобылой. Лицо мужицкое, длинная, как жердь, мосластая.

Правда, замуж Клавку не брали. Говорила, что сама не хочет – носки, борщи, – да ну их к лешему. Жила в свое удовольствие – детей и семью не хотела. А когда Нина вздумала рожать, да еще и без мужа... Ох и орала тогда! Из дур у нее Нина не выходила. А когда из роддома Нину встречала, на Котика равнодушно глянула и сказала: «Ну, все. Жизни ты, подруга, себя лишила!»

А Нина не обиделась. Потому что была самая счастливая. Самая-самая! И ни разу, как бы ни было трудно, о решении своем не пожалела. Вот еще! И в душе считала, что Клавка ей завидует. Хотя... Кто ее знает? Жила она весело, ездила по морям, по курортам, ходила по ресторанам всяким – с Ашотиком, конечно. Платья шила раз пять в год. Шуба у Клавки была – серая, беличья. Лезла, правда....

На улицу вышли, пошатываясь. Разобрало даже стойкую Клавку. В метро долго прощались и наконец разъехались – сегодня было им в разные стороны. Клавке на север, в «явочную квартиру», а Нине на запад.

В вагоне Нина задремала и проснулась только оттого, что какая-то бабка тормозила ее за плечо.

– Вставай, конечная! Щас вот в депо увезут! Ишь, напилась! А с виду – приличная! – И, осуждающе покачивая головой, бабка вышла из вагона.

Нина испуганно вскочила и бросилась на перрон. И вправду стыдоба. Вот свяжись с этой Клавкой!

На улице было по-прежнему удушливо жарко. Асфальт под ногами был мягким и чуть липким – каблуки босоножек проваливались в него, словно нож в масло.

Кое-как она добралась до дома, медленно поднялась на третий этаж, открыла дверь и вошла в темную квартиру. В «зале», большой комнате, на полу, на красном ковре, валялись самосвал и пожарка. Нина села на диван и разревелась. Потом зашла в Котикову комнату. Рухнула на его кушетку, уткнулась в маленькую подушку-думочку – и снова-здорово.

Подушка еще пахла Котиком – леденцами, яблоком и волосиками. Вдоволь наревевшись, измученная Нина наконец уснула.

На часах было половина первого ночи. За окном вместе с ней затих уставший от духоты и вечной торопливости город.

Разбудил ее телефонный звонок – невыносимо громкий и резкий. Она вскочила с кушетки и бросилась к трубке.

– Здравсте, с воскресеньчком! – радовалась на конце трубки неутомимая Клавка. – И чё у нас в планах? – осведомилась она.

Нина буркнула:

– Какие планы, господь с тобой? Встала только.

– Ну и отличненько, – подхватила Клавка. – Чайку, туалет, морду холодной водой и...

Вперед!

– Куда еще? – испугалась Нина.

– В жизнь! – гордо ответила Клавка. – В самое ее, так сказать, пекло! В Сокольники поедем или в парк Горького. Чего дома сидеть? Ты теперь у нас свободная женщина. На волю, Нинка! Глотнем свежего воздуха, так сказать.

– Вчера глотнули, – угрюмо отозвалась Нина. – Так глотнули, что... Голова раскалывается.

– Анальгинчику, – бодро посоветовала подруга. – Короче, через два часа – на «Проспекте Маркса». Внизу, в центре зала. А там – разберемся. – И она бросила трубку.

Нина присела на табуретку и тяжело вздохнула. Сладить с Клавкой ей было не под силу. Всегда. С самого детства. Что поделаешь – тетеха. Права была мама. Куда поведут – туда и пойдет. Коза на веревочке. А все потому, что бесхарактерная. Бесхребетная, как говорил отец. Ни на что решиться не может. А вот и нет! Глупости, ерунда.

Один раз решила – и получился Котик!

И Нина, вспомнив про сына, опять заплакала.

Квартиру ждали, как... Да не скажешь как... Нет такого сравнения! Нет такой силы, такого желания, такой страстной мечты, таких сладких снов, как мечта советского человека об отдельной квартире. Отдельной от вредных и докучливых соседей, общей шумной, прокопчен-

ной, запаренной кухни с кучей колченогих, убогих столов. С проржавелой раковиной, плитой со следами прикипевшего намертво борща, с туалетом, украшенным деревянными сиденьями, висевшими на гвоздях. С полотняными мешочками, сшитыми из ветхих покрывал и скатертей, напичканными резаными газетами. С серыми, шершавыми ваннами, с вечно текущей водой из крана, оставляющей несмываемый след – рыжий, переходящий в коричневый. С бельевыми веревками, увешанными тяжелыми, плохо отжатыми, застиранными полотенцами, безразмерными черными семейными сатиновыми трусами и необъятными женскими трико.

– Марь Васильна! Ваши, пардон, парашюты бьют моего мужа прямо по голове!

– От него не убавится, – едко бросала Марь Васильна, обладательница необъятного бюста. – Ну, бьют – и что? Голова-то пустая!

Сплетни, скандалы, ссоры, перешептывания, крики... Ненависть и... Любовь! Представьте – любовь! Любовь к ближнему, непонятно откуда возникшее вдруг сострадание – если вдруг, не приведи господи, у кого-то из соседей случалась беда или горе.

Тогда подключались все – и хорошие, и плохие. Всем миром. И представьте, с бедою справлялись. Потом, когда отпускало, еще какое-то время, недолго, было тихо, мирно и благобно – сочувствие, воспоминания, чай на кухне, пирог: «Вера Павловна! Попробуйте моего яблочного! И ты, Гришенька, тоже! Любонька, не стесняйтесь! И кусочек для Михал Абрамыча!»

Но все это заканчивалось, и снова начиналась прежняя жизнь. Нет, конечно, на Первомай, октябрьские, Новый год тоже было неплохо. Но... Всем все равно хотелось своего! Личного. В которое никто и никогда не ворвется – ни с радостью, ни с проблемами.

Расселили их коммуналку на Петровке быстро – все брали то, что давали. Даже самые завистливые и жадные хватали смотровой и начинали быстро собирать вещи. Нину с родителями отправили в Черемушки. Даль страшная! Ни метро, ни цивилизации – папины слова. Маму отец ходил встречать в резиновых сапогах, с фонариком и сучковатой и мощной палкой. Мама работала в смену – утро-вечер.

А как они радовались! Ну и пусть комнаты смежные! И пусть та, проходная, узкая – Нинке места хватит. Пусть кухня крошечная, пятиметровая, зато своя! И раковина белоснежная, и плита сверкает! И вода горячая идет круглые сутки. А туалет, господи! Беленький, ровненький, сверкает весь! «Счастье и счастье», – говорила мама и шила шторы на окна, чехлы на диван и кресла. Папа стоял на балконе, курил и общался с соседом. В окно второго этажа бились ветки сирени – белой, розовой и фиолетовой. А у подъезда гордо высились тополя – молодые и стройные, точно лейтенанты после училища.

И мебель купили, и ковер – мама мечтала – красный с золотистым, только на стену! По такой красоте – и ногами? И телевизор папа на работе достал. Мама помолодела, похорошела и каждую субботу пекла пироги.

Мечтали о квартире долго, а вот пожилы совсем немного – всего-то семь лет. Папа заболел, а за ним и мама. След в след. Один за другим. Как жили дружно, так и ушли вдогонку. Нине было тогда девятнадцать. Одна на всем белом свете. Только Клавка. Человек вроде бы и надежный, но... Клавка могла загулять. Да так, что только перья летели. В Черемушки переехали почти одновременно – Клавка оказалась в соседнем доме. Окнами напротив. Только квартира у них была однокомнатная. На двоих с матерью. С мамашей, – как говорила Клавка. И мамаша эта была, честно говоря, не дай бог. Вредная, как сто чертей. С дочкой билась не на жизнь, а на смерть. Обзывали друг друга так... Клавка у нее из шалав не выходила. Что, впрочем, было недалеко от истины.

Клавка ударялась во все тяжкие. Особенно когда появился Ашотик. С Ашотиком она моталась то в Сочи, то в Ялту. Приезжала бледная, с синячищами под глазами. Про Крым и Кавказ не рассказывала ни слова. Лежала неделю и молчала.

Нина тогда думала – и зачем это? Ведь никакого счастья у Клавки не видно – глаза как у побитой собаки. Однажды приехала беременная. Поносила Ашотика разными словами. И как срок подошел – рванула на аборт.

Нина спросила: «Не жалко?»

Клавка посмотрела на нее как на полоумную и только покрутила пальцем у виска.

Ашотик рубил в магазине мясо и «деньгу имел», – говорила Клавка, примеряя очередные золотые сережки от любовника.

Ашотик замуж не звал. А вот Мишка-таксист однажды позвал! Только Клавка всерьез «женишка» не принимала. Говорила: «И куда я? К нему в коммуналку? В комнату с отцом и сестрой? И ко мне некуда – ты же знаешь, моя стерва всех со свету сживет! Да и куда? На пол в кухню?»

Мишка повздыхал и женился. Но Клавку любить не перестал.

И отчего так бывает? Еще Нинина мама-покойница удивлялась – говорила, правда, мягко (вообще была женщиной мягкой и незлобивой): «Клава твоя... Ну, совсем не симпатичная!»

И папа посмеивался: «На кобылу похожа. Только кобыла на морду красивее».

Кобыла кобылой, а кавалеры были. А у Нины вот... глухо, как в танке.

Один в институте был. Лева Булочкин. Тихий такой, незаметный, болезненный. Жил с мамой на Беговой. Нина ему, больному, конспекты возила.

Мама у Левы была замечательная – тихая, как мышка, улыбчивая и гостеприимная: «Чайку, Ниночка? С сырничками?»

Нина смущалась, отказывалась от сырничков и чая, передавала Лева конспекты и убежала.

Лева ей ничуть не нравился – тощий, бледный, «доходной» – как говорила Клавка. Ветер подует и – тю-тю! Унесет Леву в далекие леса, за кудыкины горы.

Лева смотрел на Нину такими глазами, что она терялась, краснела и... Старалась с ним не сталкиваться. И когда Лева снова заболел, конспекты возить отказалась. За дело взялась староста Соколова. И на третьем курсе они с Булочкинским поженились. Все удивлялись – Соколова была яркая, громкая. А тут – Лева Булочкин. Тихий, бледный, болезненный. Правда, начитанный и умный. И еще говорили – очень способный. В двадцать шесть защитил кандидатскую, а в тридцать – докторскую. Но и Соколова оказалась ему под стать – в смысле, не дура.

И все – никаких ухажеров у Нины больше не было. Вот просто ни одного! А уж если в институте замуж не вышла – дело плохо, хуже некуда. Женихов больше брать негде. И на работе одни женщины – статуправление, мужиков – два на этаж. И те не про Нину. Есть товар посвежее.

Когда Нина осталась одна, совсем стало плохо. Никому и ничего – в смысле, не должна и не нужна. Приходила в свою квартиру – отдельную, новую, свежую, с красным ковром на стене и сиренью под окном, и... От одиночества выла. Иногда ночевала Клавка – когда с матерью наступал «ваше кошмар».

Клавка говорила, что Нина своего счастья не понимает – одна в хоромах, на мозги никто не капает. Жизнь ее не заедает.

Не понимала Клавка, *что* потеряла Нина. Какую семью...

Иногда Клавка оставалась на несколько дней. А потом все же спешила к мамаше. «Не дай бог чего! – говорила она. – Это ж такая стерва! И газ может открыть, и воду в ванной. Соседям по батарее стучит. Знаешь, чем? Молотком! Гадина, одним словом. А ты говоришь – замуж, ребенок...»

А Нина мечтала о ребенке. Так мечтала, что даже представляла его – отчетливо, будто видела наяву. Беленький, с пушистыми, мягкими волосиками, с голубыми глазками. Тоненький такой, беззащитный. Ее сыночек. Только ее! Родная душа. Надежда на будущее. «И никакой папаша нам не нужен!» – решила Нина и принялась свой план разрабатывать. От мечты к

действию! Клавке ничего не говорила. Знала – та не то что не поддержит, засмеет! Засмеет и назовет полной душой – ну, впрочем, тоже мне открытие!

В сентябре Нине дали путевку в дом отдыха. Не дали – выпросила. Ходила в местком и ныла два месяца. Пожалели – одинокая, тихая, работает хорошо. А вдруг... Вдруг найдет свое счастье? Все в жизни бывает. Хотя... Сомнительно как-то. Рыхлая, полная, ходит тяжело, как утка, а ведь совсем молодая. Глаз блеклый, одевается точно бабка старая – серая юбка, серая кофта. Никакой косметики. А ведь хорошенькая! Голубоглазая, белокожая, рот яркий, малинкой.

В столовой дома отдыха, на Клязьме, Нина деловито оглядывалась. Красила ресницы Клавкиной тушью, помаду купила у цыганки в переходе – розовую, перламутровую, мягкую и пахнущую одеколоном.

Ходила на танцы – а там одни тетки, шерочки с машерочками. Вцепятся друг в друга и топчутся, как слоны. Душно, потно, полутемно. И духами воняет – не пахнет, а именно воняет!

Пошла гулять – по дорожкам во влажный лес. Под кустами сыроежки – красные и желтые. Красота! А потом напала на опята – два поваленных дерева, а на них... Море, океан! Ровненькие, светленькие! Собрала целый мешок. А куда девать? Отнесла на кухню – поджарьте, девчонки, себе с картошечкой. Девчонки грибы взяли и позвали повара. Вышел повар – большой, пузатый, в белом колпаке. Посмотрел на Нину, сказал:

– Приходи на грибы, кормилица! – И, усмехнувшись, пошел прочь. Вечером – делать-то все равно нечего – накрутилась и пошла в столовку. Ужин пропустила.

А там уже стол накрыт – для своих. Грибы с картошкой, огурцы соленые, водочка.

Во главе стола – повар. Тот, усмешливый. Зовут Сергеичем. Симпатичный, кстати. И совсем не старый! Чуть за сорок. Девчонки с ним кокетничают, а он анекдоты рассказывает – смешно! Выпили, закусили. Включили музыку. Сергеич пригласил Нину на танец. Девчонки замерли и покачали головами. Нина даже испугалась – вдруг побьют? Их вон сколько, а Сергеич один! Да нет, нет им никакого дела ни до Нины, ни до Сергеича. Болтают, песни поют.

А Нина осмелела – от водки, что ли? И шепнула Сергеичу:

– Проводите даму?

Сказала – и до смерти перепугалась. Так, что пот по спине.

Он опять усмехнулся. И ничего не ответил. Нина расстроилась и засобиралась в корпус. Ушла по-английски. Никто и не заметил. Шла по сырой улице от столовки и плакала. В комнате разделась и улеглась. За окном скрипел фонарь, и по стеклу бежали струйки дождя.

Нина укрылась с головой. А тут стук в дверь. Она открыла. На пороге в тусклом коридорном свете стоял Сергеич и опять ухмылялся. Нина отступила назад и села на кровать. Утром Сергеич, натягивая брюки, посмотрел на нее и сказал:

– А ты такая... Кто б мог подумать!

Какая «такая», Нина спросить не осмелилась – постеснялась. А вечером снова ждала Сергеича. Накрасилась, надушилась «Белой сиренью». Лежала, вытянувшись в струну и затаив дыхание, прислушивалась к звукам из коридора. Сергеич пришел и снова молчал и только ухмылялся. А на третий день, уходя, сказал:

– Семья у меня, Нинок! Жена и две дочки. Жена – кастелянша. Сейчас вот в отпуске, у родни. Завтра приезжает. Ты уж прости меня, Нинок, но... Сама понимаешь!

Нина, сглотнув слюну, кивнула.

У двери он обернулся:

– Бывай! Хорошая ты баба. И – спасибо тебе!

За что спасибо? Чудак, ей-богу!

Нина уезжала через два дня. А через две недели, уже в Москве, почувствовала в себе перемены. И спать тянуло больше обычного, и меду вдруг захотелось, да так – вот вынь да

положь! И съела целую поллитровку, в один присест. Да еще и с черным хлебом! Где вот такое видано?

А потом только дошло. И счастьем ее не было конца!

Потому что через восемь месяцев родится у нее сыночек. Мальчик, Котик. Константин. В честь папы.

* * *

Клавка узнала все, когда Нина была на четвертом месяце. Нина – не Клавка, у которой брюхо к спине прилипло. Нина – ватрушка сдобная, так говорила мама. А мама, естественно, всегда смягчит ситуацию – на то она и мама. Нина была полноватой с самого детства. Да и поесть любила – перед сном сушки, пряники, печеньки. Мама вздыхала и приносила дочке стакан теплого молока – для хорошего сна.

В семнадцать лет все Нинины плюшки ровненько и плавно улеглись по бокам, бедрам, рукам и ляжкам. Нина переживала, но... Поделаться с собой ничего не могла. Пару дней посидела на диете и, как потом говорила: «Я на нее села и ее раздавила». Да и на личную жизнь, которая совсем не хотела складываться – ну, просто никак, – давно наплевала. Да и мамин пример – тоже толстушка с юности, а как папа ее любил! Говорил нежно: «Булочка моя сдобная! Пироженка со сливками!»

И Нина себе сказала: «Вот! Никакой вес и никакая полнота счастьем и любовью не помеха. Будет так будет. А не будет – значит, не судьба».

Правда, похудеть, конечно, хотелось. Глядя на Клавку – поджарую, быструю, – еще больше. А Клавка ей сказала:

– Не мучайся! У тебя все полные – генетика, значит! От природы не уйдешь! – И, усмехнувшись, добавила: – Жри, пока не опухнешь!

Нина на Клавку не обижалась: знала, как до дела – Клавка первая прибежит. А если у человека есть такое качество, как надежность, простить ему можно многое. Даже почти все. А уж едкий язык и подавно.

Ситуация обнаружилась, когда Клавка закурила сигарету, а Нина, закашлявшись, бросилась в туалет. Пока ее выкручивало над унитазом, Клавка стояла у нее за спиной на пороге туалета и внимательно наблюдала за происходящим.

– Та-аак! – медленно произнесла она. – Значит, *так!* Ну, все с тобой ясно.

Клавка оскорбилась не на шутку – скрыть *такое!*

И в принципе, была права.

Нина вяло оправдывалась, что-то лепетала и бормотала, а Клавка, словно замороженная, сидела с прямой спиной и смотрела в окно.

– Видала я дур, – наконец выдавила она, – но таких! Ты, вообще, понимаешь, *что* затеяла? Вот хоть грамм мозга у тебя есть? Хоть частица? Одна – на всем белом свете. Папаши, как я поминаю, нет и не будет? – строго спросила она.

Нина сглотнула и кивнула.

– И чего?

Нина легкомысленно передернула плечом.

– Делать-то чего будешь? – продолжала Клавка. – На кого рассчитываешь? Я, – тут она повысила голос, – в этом деле тебе не помощник. Мне свои-то не нужны, а тут – чужие!

Нина понимающе кивнула.

Клавка, все еще оскорбленная до глубины души, резко встала и пошла в коридор. Открыв входную дверь, повернулась и еще раз четко повторила:

– На меня не рассчитывай. Никогда. Ни разу, поняла?

Нина снова кивнула, и Клавка гордо шарахнула дверью. «Не буду брать трубку. – Нина решила обидеться. – В конце концов, что я, должна была разрешения спрашивать? Она у меня много спрашивала? Про Ашотика, например. Или – про свои аборты...» Увиделись они случайно недели через две во дворе. Клавка шла, как всегда, высоко подняв голову, размахивая черной лакированной сумочкой, в ярком и очень красивом платье – синем с красными розами по подолу. Увидев подругу, презрительно усмехнулась.

Нина жалобно окликнула:

– Клав, ну ты что, совсем рехнулась?

Клавка остановилась, закинула голову назад и проговорила:

– И это кто мне говорит? Полоумная дура?

Актриса хренова.

Нина Клавке всегда уступала. Попробуй не уступи! Непокорности та не терпела.

Помирились. Клавка – вот ведь чудной человек! – начала таскать Нине авоськи с фруктами и дефицитными соками, говяжью печенку и рыночный творог – Ашотик, наверное, к этому делу был приобщен. Выкладывала с громким стуком добро на кухонный стол и приговаривала:

– Ешь, корова тельная! Сил набирайся! И витаминов.

И Нина набиралась. А вместе с силами и витаминами набирался и вес – куда денешься!

Из роддома Нину встречала, конечно же, Клавка. И еще сотрудница Валя – представитель месткома. Девчонки с работы собрали на коляску, Ашотик притащил деревянную кровать, в общем – зажили Нина с Котиком. Самым хорошим и любимым мальчиком на всем белом свете!

Клавка подходила к Котиковой кровати и морщила нос – не люблю младенцев! Нина, конечно же, обижалась: разве такое говорят матери? А Клавка, разглядывая Котика, словно насекомое, брезгливо и без особого интереса: «Лысый какой-то! И глаза глупые! А нос? Картошка какая-то вместо носа!» Вот тогда Нина не выдержала. Орала так, как никогда в жизни: «На себя посмотри, красавица! Нос ей не нравится... На свой клюв полюбуйся! Лысый? Да ты свои перья пересчитай! Глаза глупые? У всех младенцев такие. Молочные, называются! Хорошо, что у тебя умные. Зенки твои цыганские...»

Клавка от такого напора и таких оскорблений растерялась и примолкла – поняла, что мать трогать нельзя. Это для нее он белобрысый и курносый глуповатый Костик. А для Нины – самый умный и самый красивый голубоглазый блондин на свете.

Конечно, было тяжело. Да еще как! И если бы не Клавка, верная подруга, совсем бы Нина пропала. Что говорить! Ни в магазин, ни в аптеку не выскочишь. Устала, болеешь – все равно: корми, гуляй и стирай пеленки. Нет у одинокой матери ни выходных, ни оправданий. И никто ее не пожалеет – никто! Только Котик, сынок. Да и то – когда вырастет. А когда еще это будет....

Прикипела Клавка к Котику после одной истории – Нина попала в больницу. Аппендицит, будь он... Приехала «Скорая», и врач объявил скорчившейся на диване Нине:

– Собирайся, мать моя, да побыстрей. Сколько терпела! Как бы перитонита не было! – И грустно добавил: – Ох, бабы-бабы! И чего ж вы все такие... Дуры. Прости господи!

Нина и вправду терпела два дня. Пока не стало совсем худо. Тогда вызвала Клавку и позвонила в 03.

Клавка перегородила входную дверь:

– Э! Подождите! Куда-то вы собрались? А Котика куда? На кого?

Врач посмотрел на Клавку с осуждением:

– На тебя, милая! А на кого же еще? Или ты не подруга?

Клавка побледнела, как полотно.

– Не-ет! Так не пойдет! С собой забирайте! Или в приют какой! Я с ним не останусь! Хоть стреляйте – не останусь! Хоть на куски режьте! Я же ни кашу сварить, ни пеленки сменить... Да и гадит же он! Говном гадит! – продолжала возмущаться Клавка.

Врач, пожилой мужчина с очень интеллигентным и усталым лицом, вдруг гаркнул – совсем по-простому:

– А ну замолчи! Не останется она, видите ли. Цаца какая! Останешься. И как миленькая. И кашу сварить, и ссанье постираешь. Ишь, барыня нашлась! И дорогу дай! А то подруга твоя здесь и окочурится. Прямо на пороге. – И решительно отодвинул растерянную Клавку с прохода и под руки вывел плачущую от боли Нину.

Боль была такая, что Нина даже не сопротивлялась – дотерпела, как говорится. Даже к Котику на прощанье рванулась слабовато – врач ее удержал. Аппендицит вырезали, слава богу, до плохого не дошло. Нина рвалась домой – как там, что? Накормлен ли Котик? Клавка такая хозяйка... Кашу сварить не умеет! Не мокрый ли? Клавка брезгливая до жути, сменит ли пеленки? А постирать и погладить? Сердце болело... Из больницы ушла на четвертый день, под расписку. Взяла такси и рванула домой. Приезжает, сердце рвется, колотится – сейчас из груди выскочит. Взбежала по лестнице, как девочка.

Дверь открыла, а там... Идиллия! Клавка Котика на руках держит и песенку поет.

– Баю-баю! Сладенький мой. Малюсенький. Спи, отравы ты моя! Спи, родименький. Спи, говнюк.

Нина на пороге так и рухнула – от слабости и умиления. А Клавка, увидев ее, покраснела как рак и засмушалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.